

ОТРОЧЕСТВО
Серия книг
для
подростков

Мария
Прилежаева

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОД

Повесть

Историко-революционная тема занимает особое место в творчестве писательницы Марии Прилежаевой. Книга «Удивительный год» посвящена В. И. Ленину. В ней рассказывается о революционной деятельности всей семьи Ульяновых, о времени, проведенном Владимиром Ильичем в ссылке в Шушенском.

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1980



Мария Прилежаева

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОД

Повесть

1

Редко встретишь человека, вполне довольного своей судьбой. Одному денег не хватает для счастья, все-то он беднее других, все кажется ему: у других и квартира лучше, и солиднее обстановка, оттого и в обществе те, другие, держатся увереннее и легче достигают успехов. Тот несчастлив в семье: жена нехороша, транжира или, напротив, скупая мещанка. У третьего плохо со службой, не угадал призвания и тянет лямку всю жизнь.

А вот Прошка был доволен всем, хотя не было у него ни жены, ни квартиры, ни денег. До жены по молодости еще не скоро, а богатства у Прошки, наверное, никогда и не будет, о богатстве он не думал. Единственно, что не нравилось Прошке в своей судьбе,— имя. Особенно столичному жителю не подходит такое дурацкое имя.

— Как тебя зовут?

— Прошка.

— Эй ты, Прошка, топай своей дорожкой!

Или:

— Эй ты, Прошка, глазищи как плошки.

Глазищи действительно у него были большие, серые, чуть подсиненные, и всегда стояло в них любопытство, будто постоянно им откры-

вается новое. Он был любопытным парнем, как бы специально созданным для своей редкой работы. Поищите такую работу!

«Типолитография А. Лейферта. При скромной администрации, принимает по крайне дешевым ценам заказы, как-то: книги, брошюры, отчеты, журналы и всевозможные конторские бланки». Такая вывеска красовалась на Большой Морской у входа в полуподвал с маленькими закопченными оконцами. Сырые стены там от воды и химических растворов еще более сырели, по углам ползла склизкая плесень, воздух стоял тяжкий, смрадный, к концу дня ныла грудь, как простуженная, но Прошка своей работой был горд. Его работа — печатание книг. Правда, он не постоянно печатал на станке, потому что ходил еще в учениках и иной раз целый день занят был на побегушках. Прошка, туда! Прошка, сюда! Возьми, принеси! Его звали Прошкой оттого, что по виду он казался моложе своих семнадцати лет, был невысок и сложения довольно некрепкого. Плечи узкие, шея длинная. Вообще вид он имел не очень рабочий. Скорее, смахивал на бедного студента. Не хватало очков. Нацепи очки — и типичный бедный студент. Тем более что редко его увидишь без книги: если не на работе, так с книгой. Книги он любил страстно. Всякие, с иллюстрациями и без иллюстраций, о животных и людях, о путешествиях, чужих странах, о России, о политике. Все ему подходило!

Отсюда понятно, как повезло Прошке с работой, на которую с немалым трудом его устроила бабушка через знакомого мастера Фрола Евсеевича. Печатание книг в типографии до сих пор представлялось Прошке таинственным делом, похожим на чудо. Не было книги — и вот появляется. Как она появляется? Сейчас, например, в типографии Лейферта печатается книга Владимира Ильина. Ее долго будут печатать, весь март. Где-то какой-то ученый человек пишет свои мысли, высказывает знания о том, как устроена жизнь. Одна тетрадка, вторая тетрадка, третья тетрадка исписаны. А книги нет. Книга будет, когда тетрадки Владимира Ильина попадут в типографию, наборщики наберут, и Прошка и другие рабочие отпечатают их на станках. Две тысячи четыреста штук разойдутся по белому свету!

Конечно, если печатается новая книга, Прошка обязательно постарается узнать, о чем она. Приятно взять в руки едва сошедший с машины лист, еще влажный, тяжелый, впиваться глазами. Никто не читал только-только отпечатанные строчки, ни один человек на свете, ты первый. Но книгу Владимира Ильина «Развитие капитализма в России» мудрено было Прошке читать. На начальном листе и застрял бы, да мастер Фрол Евсеевич, сам не ведая того, раззадорил.

— Бро-ось, не для твоего ума произведение это,— сказал однажды, заметив уткнувшегося в свежий лист Прошку.

«Не для моего? Для чьего же? Э! Если так, осилю «Развитие капитализма в России»!»

Нет, не осилил. Трудно. Но отдельные листы прочитал, ухватил кое-что.

Удивительно подробно писатель описывал разные русские губернии и уезды. Будто пешком всю Россию обошел. Вот пишет о посевах конопли на Орловщине. А вот о кружевных промыслах в Московской губернии. Вот один мужик похитрее сообразил: зачем мне землю пахать, дай-ка буду скупать кружева да продавать с прибылью. И появляется в деревне торговец, капиталист. Или попалось Прошке на одном листе описание подгородных овощных хозяйств. А Прошка знает, в его родном городишке тоже огородники гряд по двести капусты для продажи насаживают. Или читает Прошка, что в Рос-



сии все больше изготовляется сельскохозяйственных машин и орудий. И ведь дотошный какой автор Владимир Ильин: докопался, что в городе Сапожок Рязанской губернии и в окрестных селах сельские капиталисты нажили хорошие денежки на производстве молотилок и веялок!

И странно, именно про город Сапожок Рязанской губернии прочитав, Прошка вроде и понял про капитализм, что входит в Россию.

А для чего знать надо об этом?

— Для правды,— объяснил Фрол Евсеевич.

Фрол Евсеевич — главный в их типографском цехе. Задает наборщикам уроки, назначает рабочим, что и сколько на день печатать, наблюдает, красивы ли и чисты сходят с машины листы. Фрол Евсеевич ездит на извозчике в издательство за рукописями, а наборщики и печатники переводят те рукописи в книги.

Когда Прошка еще дома, за сотни верст от Санкт-Петербурга, бегал в церковноприходскую школу, у них был учитель. Сухопарый, лысоватый, в очках с золотыми ободочками. Поблескивали сквозь стекла глаза, когда он говорил перед классом, торжественно поднимая в обеих руках книги:

— Они наша совесть. Достояние наше!

Прошке особенно нравилось, что они — достояние наше. Это похоже было на колокольный пасхальный звон, когда над городком и окрестными полями весь день висит медный гул, а по реке, вздувшейся от весенней воды, шурша плывут льдины, толкаются и вылезают на берег...

Фрол Евсеевич напоминал Прошке учителя. Очки у него были тоже в тоненькой золотой оправе. И говорил он не много и не зря.

— Капитализму больше в России да больше, а бедному люду хуже да хуже,— так коротко объяснил Прошке книгу.

И строже:

— Больно-то не шуми! Допечатать надо да выпустить книгу.

— Фьють! — сообразил Прошка.

— Но-но, рассвистелся, щегол! Мальчишество свое наружу все так и выказываешь. Идем, поручение есть.

Он кивнул, зовя Прошку следовать за собой в тесную каморку возле типографского цеха. Здесь хранились рукописи и прочие важные бумаги и, как в цехе, углы цвели зеленью, а на стене висел Пушкин художника Кипренского, со сложенными в глубокой задумчивости руками.

Фрол Евсеевич сказал:

— Поручение касается печатания книги. Отнесешь одной особе листы на корректуру, или, проще говоря, на проверку, нет ли ошибок в печатании. Особу зовут Анной Ильиничной. Она в обмен вернет другие листы, проверенные. Те проверенные листы привезешь в типографию.

Фрол Евсеевич спустил очки на нос, внимательно поглядел поверх очков:

— Уразумел?

— Уразумел. А писатель Владимир Ильин той особе знаком?

Фрол Евсеевич не спеша поднял с носа очки, будто прикрывая глаза.

— Чего не знаю, того не знаю.

«Знает! — подумал Прошка. — Видно, тут какой-то секрет».

— Что Анна Ильинична сама сочинительница, это известно, — сказал Фрол Евсеевич. — Сочиняет стихи. А то, может, приходилось читать итальянского писателя Амичиса «Школьные товарищи» книжку? Ее перевод с итальянского. Занятная книжица, для ребят. Ну, лети.

Прошка полетел. Он всегда-то был быстр, а тут выскочил из подвала как из пушки. А за воротами стал. За воротами, мягко покачиваясь на рессорах, по Большой Морской улице катил экипаж. Экипаж был Прошке знаком. Каждый день в тот же час крупный чин департамента полиции подъезжал в нем к

дому № 61 по Большой Морской улице. В этом доме с зеркальными окнами, пальмами, ковровыми лестницами и швейцаром в подъезде была канцелярия Горемыкина, министра внутренних дел, ведавшего полицией, жандармерией, ссылками, цензурой, политическим сыском, — все это было под властью министра. Полицейский чин следовал к управлению горемыкинской канцелярии с ежедневным докладом.

Стоял редкий для петербургского марта ясный, солнечный день. Из-под колес брызгали лужи, воробьи разлетались с громким чириканьем в стороны. Полицейский жмурился от солнца, углубленный в мысли, должно быть, приятные. Его холеное, с аккуратной бородкой лицо было довольно, он даже негромко напевал какой-то мотивчик.

Лошадиные копыта: «Цок-цок».

— Тири-ри-ри, — долетало до Прошки чиновничье пение. Экипаж проследовал мимо типолитографии Лейферта.— Тири-ри-ри.

А печатные станки стучали да стучали в типографском цехе типолитографии Лейферта, и с машин сходила лист за листом, являясь в свет, книга неизвестного автора Владимира Ильина «Развитие капитализма в России».

...Прошка свистнул по-щеглиному и понесся к конке, придерживая ладонью под курткой листы.

Книги Прошка печатал, а живого писателя в глаза не видал. Интересный получается сегодня денек. Вечером пойдет в один особенный дом, увидит особых людей. А тут нежданно писательница...

Анна Ильинична представлялась Прошке важной пожилой дамой с лорнетом, с пышной прической и кольцами на белых пальцах. Таких дам видывал он на иллюстрациях в «Ниве», и такой подсказывало воображение писательницу Анну Ильиничну. А она оказалась совсем не такой.

Прошка дернул у дверей колокольчик. Отворила довольно молодая невысокая женщина, стройная, складная, в сером платье. Темные волосы курчавились надо лбом и у висков, и темные-темные глаза глядели пытливо из-под бровей, узеньких и будто чуть сломленных. Она настороженно остановилась у порога.

— Из типолитографии Лейферта,— сказал Прошка.

— А я жду! — воскликнула Анна Ильинична. — Входите. Входите. Как вас зовут? Прош... И давно вы там, в типографии? В учениках? Входите, Прохор. Давайте, я жду.

Она нетерпеливо наблюдала, как он расстегивал пальто и куртку, вытаскивал из-под куртки пачку листов.

— Спасибо, прекрасно! Молодец, и не смял. Спасибо большущее! — сказала она и прижала всю пачку к груди сложенными крест-накрест руками.

Прошка по лицу ее понял, как она довольна, что листы будущей книги в сохранности, здесь, у нее. Она даже с облегчением вздохнула.

— Вам ничего, Прохор, не велели?

— Велели. Проверенные листы в обмен привезти.

— Правда. Сейчас.

Она вышла из комнаты, унеся пачку с собой. Он огляделся. Комната низкая, небольшая, с овальным столом посреди и плетеными стульями. У стены комод. И ничего больше. А он думал, писатели богато живут. Ну, не богато, так особенно как-то, не похоже на обыкновенных людей.

— Я думал, писатели необыкновенно живут,— сказал он, когда Анна Ильинична вернулась, неся проверенные листы.

Сказал, чтобы как-то вступить в разговор, потому что не хотел уходить, не поговорив. Ни за что он так не уйдет!

— Какие писатели? — удивилась она.

— Да хоть бы вы.

— Ах я? Батюшки мои, ведь верно. Вот он каких писателей имеет в виду!

Она рассмеялась. Глядя на нее, и он засмеялся, так весело она расхохоталась.

— Да, правда, пишу немного... А вы что же, читали что-нибудь?

— Пока не пришлось.

— Милый вы чудак, Прохор! — улыбнулась она. — А у вас неплохая работа, печатником?

— Очень подходящая даже! Анна Ильинична, а как писатели пишут? Владимир Ильин, к примеру, как пишет?

Вдруг она стала другой, какая-то сдержанность появилась в лице.

— К сожалению, не знаю. Пожалуйста, Проша, спрячьте листы вот так, под куртку, как бы не выпали! Передайте, что все отлично, скажите Фролу Евсеевичу...

Прошке ужасно не хотелось уходить так скоро от Анны Ильиничны.

— Я отчего спрашиваю,— пряча под куртку листы и нарочно медленно застегивая пуговицы, рассуждал он. — Книгу печатаешь, знать охота, про что она, как. Мне один знакомый человек объяснил, что в этой книге про Россию вся правда написана. Капитализму прибывает в России, а рабочему народу не лучше.

— Он правильно вам объяснил,— ответила Анна Ильинична с улыбкой.

А Прошке все больше она нравилась. Хотелось говорить с ней откровенно о чем-то важном и душевном.

— Научная книга «Развитие капитализма», а политическая. Я хоть и мало листов прочитал, а что политическая, это я понял.

— Да? — вопросительно сказала она.

Хотела что-то добавить еще, но сдержалась.

— Может быть. Может быть. Но не будем обсуждать.

— Ясно. Допечатать надо успеть, пока жандармы не доискались.

— Что?! — тихонько ахнула Анна Ильинична и кончиками пальцев приложилась к щекам. Щеки у нее разгорелись, на взгляд видно — горячие. — Сейчас надо меньше об этом говорить.

— Понял. Я почему про жандармов вспомнил. Иду к вам с листами от книги, а он мимо в коляске. Он каждый день мимо нас ездит. Важный, по сторонам не глядит. А не чует, какую мы книжку о России печатаем. Она хоть и разрешенная, а все-таки, если вникнуть... Анна Ильинична, вы Владимира Ильина знаете?

Наступило молчание. Несколько секунд было молчание. Длинных несколько секунд. Зачем ты спрашиваешь, Прошка? Ведь со всех сторон намекают тебе: пока помолчим. Прошка видел милое темноглазое и немного встревоженное лицо Анны Ильиничны. «Надо на другое перевести разговор!»

— Анна Ильинична, я вашу книгу «Школьные товарищи» в библиотеке возьму.

— Это не моя книга, Проша. Я ее с итальянского перевела.

— Во-о, с итальянского! Во какая вы образованная!

Она рассмеялась. Как хорошо она смеется!

— Вы тоже можете образованным стать. Надо захотеть. Вы умеете хотеть? Вы много читаете, Проша?

— Читаю. С малых лет. А вы?

— И я с малых лет. У нас дома все книгочии. В юности я в деревне живала. Каждое лето. В деревне Казанской губернии. Домик у нас старенький был, запущенный сад, обрыв над речушкой. У меня любимая аллейка, березовая, в ясные ночи вся лунным светом расписана... А в безлунные сад темный, сад старый, глухой, а мы — на крылечке под лампой, все с книгами.

— Анна Ильинична, мне один

знакомый человек говорил, вы стихи сочиняете.

— Какой у вас знакомый всеведущий! Сочиняла, когда ваших лет была.

— Скажите свой стих, Анна Ильинична, а?

— Вот чудак! Далеко это все.

— Все равно скажите, пожалуйста!

— Право, чудак... Ну вот... «Ночь давно уж, все-то дремлет, все кругом молчит. Мрак ночной поля объемлет, и деревня спит... В хуторке лишь, на крылечке, светит огонек, и за чтением серьезный собрался кружок...» Незатейливые мои стихи.

— «И за чтением серьезный собрался кружок...» Это ваши сестры, братья? Хорошая у вас, видно, семья?

— Правда, хорошая, в этом я счастлива. Пора вам в типографию, Проша. Листы не выроните? Нет? Надежно? И знаете, что я вам посоветую? Будьте осторожны в разговорах с чужими. Особенно о политике.

А он только собирался рассказать ей о сегодняшнем особенном вечере! Так и подмывало его поделиться с Анной Ильиничной. Теперь, после предупреждения, он не решился. Скажет, болтун.

И ушел, не поделившись.

Анна Ильинична, заперев дверь, подошла к окну. В окно видно, как Прошка, перебежав улицу, бодрым шагом направился к конке. Узкоплечий, в драповом коротком пальто до колен.

«Славный мальчишка. Совсем мальчишка еще. А неглупый. И славный, — думала Анна Ильинична. — Значит, политическая книга? Что же, верно знакомый человек ему объяснил. Володе было бы радостно знать, что рабочие самую суть в книге улавливают».

Анна Ильинична постояла, пока Прошка вскочил в подошедшую конку, и ушла в соседнюю, совсем уж крохотную, комнатку с железной кроватью под белым пикейным одеялом и с небольшим письменным столиком. Накинула на плечи теплый шарф — в комнатенке прохладно — и развернула отпечатанные вчерне листы. Теперь она будет их читать много часов, проверять каждое слово и цифру. Пропустит обед и очнется от работы, лишь когда стукнет за окном, оборвавшись с карниза, мартовская певучая льдинка. Ночь. Спит каменный Петербург. Пора спать. «Еще немного. Несколько листов еще прочитаю. Все хорошо, Володя! Дело идет».

2

После работы надо было идти в тот «особенный» дом, но сначала Прошка побежал в библиотеку. Что за книга? Название, правда, ребяческое, но хотя Прошка чаще читает научные, политические и вообще серьезные книги, однако и «Школьные товарищи» итальянского писателя Эдмондо Амичиса не прочь почитать. Тем более в переводе Анны Ильиничны.

Именно оттого особенно хотелось Прошке поскорее взять в библиотеке книжку, что ее перевод! Какое-то приподнятое чувство осталось у него от встречи с Анной Ильиничной. А спросите, что такого в ней исключительного, — не ответит. Не знает. Только чувствует, поговорила, приоткрыла что-то важное, а еще многое неоткрытым осталось! Прошку тянуло и звало к тем людям, о которых Анна Ильинична сочинила стихи:

И за чтением серьезный
Собрался кружок.

У Прошки кружка не было. Ходил в одиночку. Не с кем поделиться сокровенными мыслями. Вот только, может, сегодня... На сегодняшний вечер у Прошки были большие надежды!

С такими мечтами он шагал по знакомой дороге к Публичной библиотеке, не так далеко от типолитографии Лейферта. Библиотекарша,

стриженая, требовательная барышня в черной юбке и белой кофточке, застегнутой на много маленьких пуговичек до самого горла, любила идейных читателей и молодым ребятам, вроде Прошки, старалась давать деревенские очерки Глеба Успенского, или статьи о рабочем классе Шелгунова, или другие содержательные произведения о беспросветной жизни народа.

Поэтому, услыхав: «Мне «Школьные товарищи» итальянского писателя Амичиса»,— она в удивлении подняла круглые, как дужки, брови.

— Верно, для младшего брата? — спросила она.

— Нет у меня брата. Для себя самого.

— Для себя самого?

Круглые дужки на маленьком лобике поехали выше, а две курсистки в бархатных шапочках, как по сигналу, обернулись от каталогов у стены, где копались. Две пары глаз изучающе и чуть свысока поглядели на Прошку.

— Ведь это детская книга, вы знаете? — сказала библиотекарша.

Прошка чувствовал, его авторитет как идейного читателя падает, но не хотел отступать, и вообще надоело ему читать по указке.

— Детскую мне и надо.

— Детскую? Хм!

Минуты три библиотекарши не было, она разыскивала в библиотечных помещениях «Школьных товарищей», а Прошка стоял с равнодушным видом, не оглядываясь на курсисток.

— Классическая повесть для читателей младшего возраста,— сказала библиотекарша, принеся Прошке не особенно большую книгу в пестреньком переплете с коричневыми наугольниками.

— Классическая? Мне такую и надо.

Прошка взял книгу. Все-таки у него радостно стукнуло сердце при виде пестренького переплета: «Школьные товарищи. Из дневника ученика городской школы. Сочинение Эдмондо д'Амичиса. Перевод с итальянского А. Ульяновой».

Он сунул за пазуху повесть д'Амичиса.

Курсистки в бархатных шапочках сочувственно переглянулись, что, мол, парень рабочий, в университетах не учился, пускай себе читает.

«Эх вы, знали бы, какие я книжечки читывал!»

Он мог бы познакомиться с ними. В библиотеке нередко знакомства завязываются у каталогов, где постоянно толкутся читатели, ищут названия нужных книг и обмениваются мнениями, будто в каком-нибудь клубе.

Именно здесь, в библиотеке возле каталогов, Прошка познакомился с Петром Белогорским. Он был студентом, лобастым, растрепанным.

«Из горного института»,— определил Прошка по петлицам и пуговицам тужурки. Выбрали книги, вышли из библиотеки вместе. Разговорились. В первый же вечер Белогорский спросил:

— Ты слышал, как мы, студенты, бастовали против правительства?

Прошка слыхал, но не очень. Смутно слыхал. Петр Белогорский рассказал Прошке, как смело бастовали студенты, требуя от правительства свободы слова и сходок, а министр внутренних дел Горемыкин выпустил на студентов отряд конной полиции с плетками.

— Горемыкин подлец и палач! — сказал Белогорский, оглянувшись, не слышит ли кто.

За разговорами они весь вечер проходили по улицам. Вечера три так ходили, и Белогорский говорил о студенческих сходках и стачках, о светлых личностях — Карле Марксе и Энгельсе, о блестящем талантливом публицисте Михайловском, но другого направления, чем Маркс. Потом Белогорский спросил:

— Желал бы ты встретиться с политиками?

Прошка так весь и замер. Все в нем так и запело.

И вот он идет на эту необыкновенную встречу, и неизвестно, что там его ожидает и чем все это кончится. Но какой, однако, неорганизованный он человек! Зачем его понесло в библиотеку? Неужели нельзя было потерпеть до завтра? Теперь на целый час опоздал из-за книжки Амичиса.

Твердя про себя адрес и имя, кого надо спрашивать, он одним махом взбежал на третий этаж и остановился отдышаться. На двери, обитой для тепла коричневой кожей, табличка. На табличке полное имя и фамилия: «Екатерина Дмитриевна Кускова». Открыто так и написано. А у нее сегодня собирается тайный кружок! Но так как с тайными кружками Прошка до сих пор не знавался, то, недолго раздумывая, нажал кнопку звонка.

В прихожую выбежал Петр Белогорский, разгоряченный, в студенческой тужурке нараспашку.

— Явился? Молодчина! А я беспокоюсь, отчего его нет, струсил мой пролетарий?

И потащил Прошку в комнату с пестрым ковром во весь пол, роялем и камином, где в жарком ворохе углей вспыхивали и ползли синие змейки.

— Господа! — прокричал Белогорский, вводя Прошку. — Знакомьтесь, мыслящий представитель российского рабочего класса! Екатерина Дмитриевна!

Он подвел Прошку к Кусковой. Она была молодой статной дамой, черноволосой, в черном шелковом платье. Стояла, окруженная молодыми мужчинами в студенческих тужурках и пиджаках с манишками, и курила тоненькую папироску, стряхивая пепел прямо на ковер.

— Покажите мне его! — звучным голосом сказала Екатерина Дмитриевна.— Вы Прохор? Слышала, говорил о вас Белогорский. Господа! Какое имя, глубинное, русское! Из типографских рабочих? Господа! Как раз для типографских рабочих типично тянуться к нашему движению. Наиболее думающая публика среди русского рабочего класса. Здравствуйте, Прохор! Я Кускова. Будем знакомы. Идите к нам. Мы вам рады. Товарищи, кто-нибудь дайте ему чаю.

Кто-то из студентов вышел в соседнюю комнату, принес стакан черного чая. Прошка побоялся оставить свою библиотечную книгу в прихожей, ему неудобно и непривычно было пить чай стоя да еще с книжкой под мышкой и стеснительно от взглядов незнакомых людей.

— Не будем его смущать,— сказала Кускова. — Пейте чай, Прохор. Осваивайтесь. Господа, не смущайте его. После он расскажет нам, что, по его мнению, нужно рабочему, к чему стремится рабочий.

Но она не стала ждать Прошкиных мнений и сама принялась говорить:

— Господа! Рабочего не интересует политика.

«Вот так так!» — удивился Прошка. Как раз его интересовала политика. Из-за политики он сюда и пришел.

— Да! Да! — восклицала Кускова, читая на его лице несогласие. — Я говорю о массе, я не имею в виду исключения. Господа! — сверкая глазами, призывала она. — Наша священная цель добиваться лучшей жизни для рабочего класса! Наш рабочий темный, забитый...

Прошку кольнуло: «темный». Может, и темный, но его кольнуло. Он поставил стакан с чаем на стол, пригладил волосы на затылке. «Вот сейчас я отвечу». Но Кускова на всех парах неслась дальше. Она говорила, как тяжко, жестоко живется рабочему классу в России. Что русский рабочий неграмотен, что в первую очередь надо добиваться для рабочего человеческой жизни. Чей долг

бороться за человеческую жизнь пролетария? Наш долг. Стыдно нам, интеллигенции, что наш рабочий не досыта ест, не умеет имя свое написать. При таком положении мечтать о политической партии, о завоевании власти? Наивно, наивно. Грамоте надо сначала рабочего выучить, да чтобы не вповалку спали. Разве не правда?

Она ходила по комнате, шурша шелковым платьем, то курила, то, бросив папироску, прижимала руки к высокой груди, обтянутой шелком.

— Мы, интеллигенты, мыслящий класс, должны взять на себя...

— Но позвольте, Михайловский показал, что в России не рабочий, а деревенский мужик,— тонким голосом возразил студент, румяный, как барышня.

— Какой Михайловский? Вы безбожно отстали со своим Михайловским. Народился пролетариат.

— Россия — это деревня, мужик! Будущее России в мужике и деревне,— упрямился румяный студент.

Петр Белогорский, напротив, поддакивал Кусковой:

— Да! Пролетариат. Мы решаем судьбу! — И на ухо Прошке: — Она всю Европу объездила. Ей все титаны мысли знакомы. О Бернштейне слыхал?

— Друзья! — призывала Кускова, закинув руки на затылок, будто в каком-то порыве.— Не жить нам тихой, мирной жизнью, не по натуре она нам! Хочется дела, живого, бодрящего. Где это дело?

Вокруг зашумели.

— Вы читаете в душе интеллигенции. Интеллигенция жаждет!..

— Чего она жаждет? — услышал Прошка сердитый голос. — Наш гимназический инспектор, например, жаждет повышения в чине.

— Стыдитесь! — закричал Петр Белогорский. И Прошке тихо: — Ну, как? Слышишь, стычки какие, а? А она? Уловил темперамент? Вот кто может зажечь, повести...

— Для пропаганды надо хотя бы набросок взглядов, программу применительно к русскому обществу,— требовал кто-то.

— Безусловно, необходима программа.

— Господа! Господа! — воскликнула Кускова, беря с рояля тетрадку и вырывая страницы. — Господа! Давайте сочиним сообща, пусть это будет наше совместное. Мы с Прокоповичем думали... Итак...

— Прежде всего надо заявить, что мы против всех и всяких революций! — резко выступил чей-то бас.

— Разумеется. Но...

— Никаких «но». Мы за постепенное развитие общества. Революция — гибель.

— Постойте, господа! — ворвался подвизгивающий от возбуждения голос Петра Белогорского. — Я предлагаю...

Но его перебили. Кто-то произносил ученую речь об отчаянном положении русского рабочего класса. Кто-то убеждал, что образованному классу буржуазии история предназначила роль спасителя родины. Кто-то, перебивая, кричал:

— Агитировать рабочих к созданию партии — значит толкать в пропасть, в пропасть!

Все жалели рабочих. Были шум, беспорядок, споры, и Прошка ничего уже не мог понять; только что госпожа Кускова и ее гости беспокоятся за участь рабочих, но не совсем твердо знают, как надо рабочих спасать.

— Господа! — возвысился голос Кусковой. — Начать следует с оценки рабочего движения Запада. Мы — лишь слабое повторение Запада.

— Надо начать с того, что революция не для России. России рано. Нам, русским социал-демократам, помалкивать надо про революцию,— басил, как в бочку, все тот же неуступчивый бас.

— Нет, господа, главное и в первую очередь...

У Прошки сумбур в голове. А на бумаге не получалось изложения

взглядов. Было очень беспорядочно это собрание.

— Господа,— сказала наконец Кускова.— Оставим, господа. Я подумаю после. Оставим до следующей встречи.

Она бросила на рояль исписанные и перечеркнутые накрест странички. Все как будто с облегчением вздохнули.

— Верно, верно, нельзя с налету. Такие вещи на ходу не делаются.

— Господа, к следующему разу я набросаю...

Кускова зажгла новую папироску и, пустив колечко, приблизилась к Прошке.

— Вы согласны, что рабочему в первую очередь, самую первую, надо досыта еды, жилье и... культуру?

Конечно! Каждый скажет, что надо. Убедительно она говорит. Но про рабочую партию и революцию Прошка не мог сразу сказать свое мнение. Убедительно она говорит, а что-то в сознании Прошки смутно шевелится против.

— Что за книга? — увидала Кускова. — Ну-ка, что вы читаете? Амичис? — И дальше Прошка услышал: — О! Постойте... Перевод А. Ульяновой? Так и есть. Господа! С Анной Ульяновой я за границей встречалась. Это она. Ее перевод. Господа, вы слышали об Ульяновых?

— Убедился, что Кускова со всеми на свете знакома? — восторженно шепнул Белогорский.

— Как? Вы не знаете? Господа! Неужели не знаете? У Анны Ильиничны был брат Александр, тот самый, которого казнили повешеньем за покушение на царя.

Студенты задвигались, загудели басами:

— Тот самый? Не может быть!

— Почему не может? Именно тот! Александр Ульянов, кажется, с Волги...

А у Прошки сердце заныло. Про покушение однажды в откровенную минуту ему рассказывал Фрол Евсеевич, но что среди казненных революционеров был брат Анны Ильиничны, Александр Ульянов — родной брат улыбчивой и ласковой Анны Ильиничны... Этого Прошка не знал.

— Господа! А о втором брате слышали, о марксисте Ульянове? Вот кто поспорил бы с нами!

— Отчего?

— Мы практики, он — фантазер. В нашей темной России мечтать о марксистской партии разве не фантазия?

— Знаю о Владимире Ульянове, слышала,— задумчиво говорила Кускова.— Опасный был спорщик.

— Почему был?

Она развела руками:

— В ссылке. А интересно бы поспорить, Владимир Ильич!

«Владимир Ильич. Владимир Ильин, — мелькнуло у Прошки. — Владимир Ильин. «Развитие капитализма в России». Анна Ильинична. Владимир Ильин...»

— Вы новичок среди нас, — сказала Кускова, уловив его замешательство. — Вам надо расти и выбрать свой путь. Мы зовем вас к реальной борьбе за улучшение жизни рабочих. А есть политики...

— ...которые соблазняют фантазиями, как Владимир Ульянов, — говорил Белогорский.

«Владимир Ульянов, Владимир Ильин. Это он, брат Анны Ильиничны! «Развитие капитализма в России». Где там фантазия?»

Но Прошка молчал. Ни слова не сказал, что в типолитографии Лейферта печатают книгу Владимира Ильина. «Владимир Ильин. Владимир Ильич!»

— Семья Ульяновых сошла с политической сцены, — пуская из папироски дым, говорила Кускова.— Сестра переводит детские повести. Брат в далекой Сибири без дела.

«Без дела? А книга?»

Но Прошка молчал. Чутье подсказало ему, что про Анну Ильиничну, которая в этот час, может быть,

проверяет листы из книги Владимира Ильина, надо молчать. И про книгу надо молчать, хотя Петр Белогорский, Кускова и все здесь целый вечер обсуждают вопрос, как лучше бороться за рабочую долю. Кускова понравилась Прошке. Понравилась ее красота и решительный вид.

— Мы сила! — говорила Кускова. — Мы поведем рабочий класс за собой, нашей дорогой.

— Браво! — кричали студенты.

«Владимир Ильин. Владимир Ильич. Анна Ильинична. У них другая от этих дорога? А у меня?»

Конечно, он против капиталистов, против царя Николая Второго, против министра Горемыкина, приказавшего полицейским стегать студентов плетками. Но не так-то легко разобраться, кто прав, Кускова или Владимир Ильин. Вроде и она за рабочих, и он за рабочих...

— Приходите еще! — позвала на прощание Кускова.— Надо нам держаться вместе. Господа! Больше привлекайте рабочих.

— Типичная Жанна д'Арк! А? Ты не находишь? Камень способна зажечь, лед растопить, столько страсти, огня! — полушепотом восклицал Петр Белогорский, когда они с Прошкой поздно вечером шли от Кусковой.— Ну как? Задался вечерок? Содержателен, а?

Голова Прошки была полна впечатлениями и самыми противоречивыми мыслями. Студенты из кружка Кусковой и она сама были умны и речисты и так заботились о нуждах рабочих, просто диво! Прошка завидовал их образованности. Эх, образования бы ему! А студенты учены, учены. Пока слушал на кружке, Прошка соглашался со всеми их доводами. Убедительно они рассуждают! И все же...

3

Корректура окончена. Тексты и таблицы книги проверены, отосланы в типографию. Больше делать в Петербурге нечего. Анна Ильинична расплатилась с квартирной хозяйкой, взяла свой маленький саквояжик и оставила дом. Просидев почти безвыходно все дни за работой в низеньких комнатках, она с радостью вдохнула свежий воздух на улицах. Чуточку закружилась голова, так неожиданно остро, волнующе пахнет весной!

До поезда оставалось почти полдня и еще целый вечер. Надо побывать у Александры Михайловны Калмыковой в ее книжном складе на Литейном проспекте. Но прежде побродить по петербургским улицам, досыта находиться по дорогим местам. Мест дорогих, счастливых, горьких, мучительных было много во всех концах Петербурга. Дорогим местом был Васильевский остров! Приезжая в Петербург, Анна Ильинична уж непременно хоть ненадолго забегала сюда. Или приезжала на конке. Конка все так же кряхтит и трясется, словно сейчас грозит развалиться, так же надтреснуто звонит на остановках колокол. Даже пузатые лошаденки, усердно тянущие конку по рельсам, Анне Ильиничне кажутся прежними. Будто и не пролетело двенадцати лет! Анна Ильинична была тогда курсисткой, брат Александр студентом университета. Марк Елизаров тоже студент. Были они совсем молодыми. Читали, учились. Без конца читали, учились.

...Вдоль Университетской набережной на Васильевском острове розовато-желтое университетское здание с балкончиками, с художественной лепкой балконных перил. Здесь проходила Сашина петербургская юность. А невдалеке приземистые, словно приплюснутые корпуса солдатских казарм. Весь день на казарменном плацу маршировали солдаты.

— Ать-два, ать! — хрипло надрывался офицер.

От хриплого офицерского «ать» холодело сердце. Громада Зимнего дворца тревожаще-брусничного цвета виднелась на том берегу Невы.

Высился Александровский столп, на вершине его ангел вскинул крест, то ли благословляя людей, то ли страша. Стены, шпили, колонны. Все было каменно, твердо, громадно. Незыблемо.

Раньше Анна Ильинична не могла сдержать слез, когда приходила к университетскому зданию на Васильевском острове. Она любила брата Сашу любовью, полной восторга. Он был самым умным, даровитым, чистым, не сравнимым ни с кем! Все, что в ней самой было лучшего — поэтичность, мечтательность,— вплеталось в ее любовь к брату Саше. Он был талантлив. Все профессора говорили, Александр был талантлив. Каким благородным он был человеком! Смелым! «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Тогда ей пришли на память эти стихи. Теперь Анна Ильинична не плачет, когда думает о своем брате Александре, на душе у нее печально и будто поют торжественные хоры. «Вознесся выше он главою непокорной...»

Вот Бестужевские женские курсы на Васильевском острове. Тогда она здесь училась. Вот сквер. В сквере под старыми липами, где глубокая, тихая тень, они часто встречались с Марком Елизаровым. Марк стеснительно брал ее руку в мужицкую ладонь с жесткими буграми мозолей, они садились на скамейку под этими липами и говорили. Лучшим существом на земле, безупречным и возвышенным, для них обоих был Саша. Они говорили о нем, о своей дружбе с ним.

Шпалерная. Угол Шпалерной и Литейного. Мучительное место. Знаете ли вы, что это за дом на углу Шпалерной улицы, угрюмый и закрытый, где в глухих, будто ослепших окнах никогда не мелькнет живое лицо? Дом предварительного заключения.

Ее заключили сюда 1 марта 1887 года. Был весенний день, солнечный, с бурными ручьями на улицах. Она помнит его весь. Она напрасно прождала в тот день Александра и вечером в беспокойстве сама пошла к брату. В окнах увидела свет. Обрадовалась: значит, ты дома, Саша!

А там была полиция.

— Анна Ульянова? Курсистка? Сестра Александра Ульянова?

Только в тюрьме она узнала о том, что случилось. Она не имела понятия о замыслах Саши, за что его взяли. Ужас ее охватил. Что его ждет? В одиночной камере, запертая ото всех людей, она припоминала день за днем до его ареста первого марта. Каким в это время был Саша? Можно ли было что-то заметить? Как она пропустила беду? Они встречались постоянно. Он был обычным. Нет, если бы хоть отдаленно она представляла, что он готовится убить царя, могла бы заметить... Погруженный в себя, какой-то особенный, скорбный и значительный взгляд. На мгновение. Потом все рассеивалось. Отрешенность и строгость в выражении лица, словно человек отходит от родного порога, направляясь куда-то далеко-далеко... Нет, это было редко. Он был обычным.

Она могла бы заметить в самые последние дни внезапность и нервность его приходов к ней и уходов. Она не знала ничего. Ее забрали у него на квартире как сестру студента Александра Ульянова, покушавшегося на священную особу государя.

«Мамочка! Наша удивительная мама, ты навещала нас обоих в тюрьме. Брата Сашу. И меня. Я не знала того, что ты знала, что он приговорен к казни. Он утешал тебя на свиданиях, обнимал твои колени, говорил, что любит тебя, любит нас, но долг его перед родиной... Брат мой Саша! Когда Сашу казнили, мама, ты пришла ко мне в камеру. Ты пришла потрясенная, и даже тогда не сказала мне, что его казнили. Пожалела меня, мама, родная».

Анна Ильинична, как ни крепилась, не выдержала. Рыдания под-

нялись в ней, душили горло. Она быстро пошла по Литейному.

«Не плакать. Не плакать. Это было давно».

Ах, как бы ни было это давно, никогда не уляжется ужас.

Но постепенно взрыв боли утих в ней, и она вернулась обратно, к Шпалерной. Еще раз пройти мимо этого жестокого места.

Через восемь лет после Сашиной казни здесь был заключен брат Володя. Они приехали с мамой в Питер в смертельной тревоге. Они не знали, чем это кончится. Надо было действовать и скрывать страх и беспокойство от мамы. Но, мама милая, ты снова всех ободряла! Шла на свидание с Володей в Дом предварительного заключения. Здесь последний раз перед казнью ты видела Сашу. Теперь шла к Володе. Спокойная. Улыбалась. Мама, ты улыбалась! Только взгляд потухший как будто не хотел отвечать жизни.

Но что это? Стемнело? Уже зажглись фонари? Анна Ильинична и не заметила, как кончился день.

Литейный проспект принял вечерний праздничный вид. Появились франтоватые пешеходы, спешащие провести время в каком-нибудь избранном или неизбранном обществе. Слышался цокот копыт. Потянулись экипажи, везя в театры и концертные залы образованную и богатую петербургскую публику.

Надо до поезда успеть к Калмыковой. Александра Михайловна Калмыкова жила на Литейном проспекте у Невского. Там был ее книжный склад, откуда снабжались книгами уездные и деревенские школы на самых дальних окраинах. При складе была книжная лавка. Продавцами в лавке служили опрятные и скромные женщины, помощниками у них были тоже скромные, смышленые мальчики, аккуратно одетые в одинаковые курточки. Все это было необычно, привлекательно и, как небо от земли, отличало лавку и книжный склад Калмыковой от других петербургских магазинов и складов.

Она жила при складе в квартире из нескольких комнат.

«Разузнаю о книжных новинках и политических новостях»,— думала Анна Ильинична, спеша к Калмыковой.— Вообразите, вдова сенатора, важная светская дама, а с рабочим движением как прочно дружит и с Володей очень близка! Странно? А не придумано, правда».

Анна Ильинична любила столовую комнату в квартире Калмыковой, с плотными занавесками на окнах и тяжелыми портьерами на двери, чтобы заглушать голоса, с круглым столом, за которым охотно и часто собирались молодые марксисты. Какие шумели здесь споры, какие громы гремели, пока в ночь на 9 декабря 1895 года не забрали почти всех друзей Калмыковой.

— Сколько лет, сколько зим! — говорила Калмыкова, идя навстречу Анне Ильиничне.

Она была легка и подвижна, черты лица у нее были неправильные, но живость и ум придавали ей прелесть. Всегда деятельная, чем-то всегда занятая: учительством в вечерней школе рабочих, книжным складом, связями с марксистской партией.

— Какая вы молодая! — улыбнулась Анна Ильинична.

— Как же! Полвека позади. Пятьдесят годиков пройдено.

— Не верю, не верю!

— Сама не верю.

Это были не слова. Действительно, она не придавала значения своим пятидесяти годам. Годы не отражались на ней. Первый верный признак нестарения души — интерес к жизни и людям, а это у Калмыковой не переводилось. Не сосчитать дружб с молодыми и старыми, учеными и рабочими, марксистами и немарксистами, разными людьми,

но непременно наделенными живинкой.

С Владимиром Ильичем была давняя, очень дорогая ей дружба. Давняя? Постойте, а в каком году Владимир Ильич приехал сюда, в Петербург?

Встречаясь с кем-нибудь из милого ее сердцу семейства Ульяновых, последнее время чаще с Анной Ильиничной, Калмыкова любила «попраздновать».

— Попразднуем? — говорила она.

И усаживалась с гостьей за большой круглый стол у самовара, и начинались разговоры. Не о делах. Это потом. Вечерняя школа за Невской заставой, журнальные статьи, явочные адреса и политические связи, печатание книги — это потом.

Сначала повспоминаем, «попразднуем».

Владимир Ильич приехал в Петербург в 1893 году. Русский капитализм набирал силу, шел к расцвету, полный надежд. Дом Романовых царствовал под охраной бесчисленной армии жандармов, полицейских, чиновников. Гранитный чиновный, дворянский Санкт-Петербург на берегах величественной холодной Невы.

И приезжает с Волги молодой человек. Ему всего двадцать три года. Здесь, в Петербурге, казнили его брата за то, что он хотел убить царя. Саша! Если бы ты даже убил, на престол встал бы следующий, мстительный, от страха еще более жестокий новый царь из дома Романовых.

Нет, марксисты ставят другие задачи: соединить марксизм с рабочим движением, вооружить рабочих революционной теорией. И что же? Не прошло и двух лет после приезда Владимира Ильича, сильное рабочее марксистское движение поднялось в Петербурге.

Анна Ильинична улыбалась, глядя на смуглое, полное энергии лицо Калмыковой, и слушала. Они любили это Володино время, его петербургскую молодость, когда он приехал сюда начинать.

Потом они припомнили Володиных друзей и товарищей.

— Помните Глеба Кржижановского? Какой-то он сейчас, в ссылке? Володя пишет, все тот же. Очень живой, глазки как черные смородинки, кудрявый, начитанный, по знаниям рядом с Володей первый марксист.

— А Ванеева Анатолия помните?

— Тоже волжанин, из Нижнего. Можно бы целое землячество в Питере из нижегородцев составить: Ванеев, Сильвин, сестры Невзоровы... Из Шушенского пишут, болеет, бедный... Какой-то весь одухотворенный...

— Михаил Сильвин, тот другой.

— Сильвин? Почему? Ну, разумеется, другой. Больше земной, вы хотите сказать?

— Более, пожалуй, жизнеспособен, а тоже надежный.

— У Володи много надежных друзей,— сказала Анна Ильинична.

— Каков поп, таков и приход,— ответила Калмыкова.— Владимир Ильич умеет собирать возле себя умы и таланты. Разве не так?

— Так, — согласилась Анна Ильинична.

Она об этом не думала, но сейчас, припоминая товарищей Володи по «Союзу борьбы», подумала: «Так».

Известно, чем меньше времени, тем оно быстрее летит, и Анна Ильинична, взглянув на часы, убедилась, что до отхода поезда осталось недолго.

Пора поговорить о деле. О пересылке книг в Шушенское. Владимир Ильич пишет, что совестно даже, все забирает да забирает книги из калмыковского склада, все в долг.

— Свои люди — сочтемся,— сказала Калмыкова.

Поговорили о последних журнальных статьях, печатании рукописи в типолитографии Лейферта, письмах из Шушенского.

— Работают оба, Владимир Ильич и Надя, вовсю! Владимир Ильич книгу закончил, статья на очереди. Оба переводят с английского. А Новый год встречали у Кржижановских в Минусе, повеселились. А каким охотником, представьте, заделался Владимир Ильич! Читают уйму. Сколько ни шли им, еще и еще требуют книг. Требуют, елико возможно, держать в курсе политических новостей...

Тут Калмыкова вспомнила:

— Стойте! Есть новость. Кускова из странствий вернулась.

— Ну уж важная новость! — возразила Анна Ильинична.

Она знала Кускову. Не близко, но знала. Красивая, бойкая дама. Служила переписчицей бумаг у известного адвоката Плевако, научилась от Плевако ораторствовать. Любит заниматься политикой, поскольку в наше время модно рассуждать о политике. Вместе с теперешним своим мужем Прокоповичем изъездили почти все европейские страны, занимались пропагандой... только чего?

— А вот стойте, что я вам покажу.

Калмыкова вышла и через минуту вернулась, неся несколько отпечатанных на ремингтоне листков.

— Читайте их пропаганду. Студент один передал Кусковой взгляды. Ее да Прокоповича сочинение. Не одни они. Группа их, да, может, немалая.

Анна Ильинична пробежала начало листка. Нахмурилась. Стала читать.

— Что такое? Странные тут вещи написаны. Рабочим недоступна политика? Рабочие не способны к борьбе? Надо ладить с хозяином? Вот так их кредо!

— Как? Как вы назвали?

— Кредо.

— Их верование. Их пропаганда. Такая, что совсем прочь от марксизма ведет. Может, следует известить Владимира Ильича?

— Как же не следует? Разумеется, следует. Ну-ну, куда они тащат рабочих. В болото!

Анна Ильинична спрятала листы в ридикюль. Пора уже ей на вокзал.

— Меня шпики кругом сторожат, — говорила Калмыкова. — Во дворе под окошком один, против ворот на Литейном другой, на углу Литейного и Невского третий. Я их по мерзейшим физиономиям узнаю. Наверное, уж углядели, что гостья у меня. Ничего, в крайнем случае один из троих дураков до вокзала проводит. До свидания, милая Анна Ильинична! Всем Ульяновым низкий поклон.

Анна Ильинична не стала разглядывать на улице шпиков. В крайнем случае, пусть провожают до поезда.

Мартовский день с капелью и солнцем внезапно сменился студеным, совсем не весенним вечером. Резкий ветер подул с моря, мча темные, с седыми краями, клубящиеся, как дым, облака. Невский быстро пустел. Стало холодно. Прощай, Петербург, до будущей встречи!

Она пришла на вокзал за пятнадцать минут до отхода поезда. Прозябла, устала. Мечталось занять скорее местечко в купе, согреться, уснуть под стук колес, а завтра проснуться в Москве. Она заторопилась к вагону. На платформе обычная сутолока. Носильщики в белых фартуках, с бляхами, по чемодану под мышками, по чемодану в руках. Восклицания, прощания. Среди сутолоки мелькнула чем-то знакомая худощавая фигурка парнишки в коротком пальто. Длинная шея. В большущих глазах вопросительный знак.

— Анна Ильинична! — гаркнул он на всю платформу.

Проша! Из типографии Лейферта.

4

Он орал во все горло: «Анна Ильинична!», без церемонии растал-

кивая народ возле поезда и протискиваясь к ней.

А если шпик провожает ее от дома Калмыковой? Ничего за ней нет, к чему могли бы придраться чины из министерства внутренних дел Горемыкина, но зачем все же орать во все горло? Что за дурачина! Зачем он привлекает внимание? Глупый Прошка! Или?.. Ведь она совсем не знает его...

После того вечера у Кусковой Прошка поздно вернулся домой. Очень хотелось тут же начать читать книгу «Школьные товарищи», он ее в ночь прочитал бы! Но Прошке редко удавалось читать по ночам, хотя это самое счастливое чтение! Тихо, будто ты один во всем свете не спишь. Разворачивается чья-то жизнь перед тобой, будто живые люди пришли, окружили тебя, интересно с ними, печально и радостно.

Но бабка не давала жечь ночью лампу. Десять часов пробило — гаси. Прошка приехал к бабушке в Питер три года назад, когда умерла его мать. После мамы отец скоро привел мачеху. Может, встречаются где неплохие мачехи, Прошкина же точь-в-точь как в сказке рассказывают: молодая, губы подобраны в нитку, глаза глядят жадно, а тебя словно не видят, словно тебя нет. Мачеха забрала над отцом полную власть. Потерял отец волю. Пишет в Питер, так и так, остались мы с сыночком без мамы родной... Пришел от бабушки ответ: «Сама в сиротстве живу, а внучонка не кину, пускай приезжает, приставлю к мастерству, а он старость мою будет беречь».

Беречь бабкину старость пока нужды не было, бабка была здоровехонька. Ходила по людям мыть полы, постирать, выстаивала воскресеньями в приходской церкви обедню, знала все происшествия в доме и осуждала Прошкино чтение. Каждая книжка для Прошки все равно что бастйон, взятый с бою.

«...Но и не для одних детей, мне кажется, хороша эта книга: она хороша и для нас, взрослых друзей их», — прочитал Прошка в предисловии к «Школьным товарищам», сладко вздохнул, от удовольствия причмокнул губами и переселился в Италию. Там синьоры и дамы, рабочие и бедные женщины, разные ребята, душевный и грустный учитель. Прошка весь ушел в их жизнь, не заметив, как пронеслось время и послышалось неумолимое:

— Поздно, лампу гаси.

— Бабушка, миленькая, Христа ради, дай почитать!

Он не очень-то к ласковым словам был способен, а тут, глядите, пожалуйста, миленькой у него бабка стала. И «Христа ради» и «миленькая».

— Ладно, читай уж,— растрогалась бабка.

Эта книга про добрых людей. Хоть в Италии, хоть в России худая жизнь без добрых людей!

Прошка начал читать не подряд. Знаете, какая зто любопытная книга? Идет-идет рассказ о школьных товарищах, вдруг оборвался. Вставная история. Про героев-мальчишек.

Прошке пошел восемнадцатый год, давно уж он работает типографским подручным, печатает «Развитие капитализма в России» и суть понимает. Значит, человек с головой, а между тем любит читать о героях-мальчишках!

Одну вставную историю в книге «Школьные товарищи» сочинила сама А. Ульянова. Прошка начал с нее.

«Карузо». Так в Сицилии называли мальчишек, которые работают в серных копях.

Прошка читал этот трогательный рассказ, и из мыслей его не уходила Аӣна Ильинична. Прошка чувствовал, как она жалеет итальянских рабочих-мальчишек, любит их товарищество, плачет над смертью бедного маленького Паоло, ненавидит





хозяина копей! И Прошка вместе с ней и жалел, и любил.

После рассказа «Карузо», после всего, что узнал на кружке у Кусковой, Прошка захотел еще раз повидаться с Анной Ильиничной. Проверять листы Фролу Евсеевичу больше не требовалось. Прошка решил идти сам по себе. Не таким уж был он смельчаком, чтобы ходить в гости незваным, но непременно надо ее повидать, и однажды после работы он отправился по знакомому адресу. Работа в этот день, как на грех, кончилась поздно. Был вечер, когда он пришел. Позвонил, как тогда. Открыла не Анна Ильинична, а строгая прямая старуха в темном капоте.

— Мне Анну Ильиничну.

— Съехала сегодня с квартиры.

— Как съехала? Куда?

Старуха строго поглядела на Прошку:

— Не знаю. Вероятно, домой. Комнаты сдаются с сегодняшнего дня.

— А-а,— сказал Прошка.— Прощайте.

И выбежал на улицу по своей привычке всегда спешить и лететь. Но куда? Значит, она не питерская. Значит, надо ее искать на вокзале. Может, поезд еще не ушел. Поезда уходят из Питера поздно.

Прошка пошагал к Николаевскому вокзалу, откуда поезда идут на Москву. А может, ей не в Москву? Прошке не явились эти сомнения, и оттого он бодро шагал, а частью бежал — не было денег на конку. Все нужнее было Прошке видеть Анну Ильиничну! Дело в том, что в его голове, незаметная для него, шла работа, и вдруг он понял: «Мне не нравится в кружке у Кусковой. Не нравится? Почему? Не знаю. Что-то не то, что-то неверно. Если бы Анне Ильиничне не уезжать! Если бы такой человек был в кружке, как Анна Ильинична! Успеть бы с ней повидаться!»

На вокзале была суета, носильщики с бляхами тащили к поезду вещи, паровоз шумно фыркал, толчками пуская вверх белый пар, у подножек вагонов прощались. Прошка увидел Анну Ильиничну. Подскочил. И сразу заметил в ней перемену. Сразу у него дух упал, и он понес, что не надо.

— Анна Ильинична, я вашу фамилию знаю. В книжке прочел. Еще, что он вам родной брат...

— Зачем вы пришли? — оборвала Анна Ильинична. Коротко, сухо.

У Прошки похолодело в груди. Совсем не та — незнакомая, неласковая Анна Ильинична. А как презрительно сдвинулись брови, как все в ней будто заперлось на замок, а он не мог сообразить, что так чуждо ее изменило. Он не мог вымолвить слова, все забыл, что хотел ей сказать, и даже не понимал, зачем очутился здесь, на вокзале.

— С этого вокзала на Подольск уезжают,— сказал он.

— Мне пора, — ответила Анна Ильинична и торопливо пошла к вагону. Ушла, не кивнув.

Паровоз тонко свистнул. Скоро тронется поезд.

«Что это значит? Что это значит? — думала Анна Ильинична, войдя в купе и тихо сев в уголок у окна.— Зачем он прибежал? Намекнул о Воло... Зачем он сказал о Подольске? Что это значит?»

Она сидела в уголке с бесстрастным лицом, а кровь пугливо стучала в виски: «Зачем он прибежал? Что это значит?»

Поезд тронулся. Она поглядела в окно. Прошка стоял на платформе. Узкоплечий, с длинной шеей.

«Какие большие у него уши, мальчишеские»,— заметила Анна Ильинична.

Было холодно. Дул резкий ветер. Прошка жался в своем коротком драповом пальтишке. Анна Ильинична успела увидеть его озябшие руки, которые он старался засунуть в узенькие обшлага рукавов.

Вагон прокатил мимо. Громче, быстрее, громче, быстрее застучали

колеса. Прошка теперь уже далеко, на платформе.

«Боже мой, а вдруг я ошиблась? — подумала Анна Ильинична.— Зачем я с ним так обошлась?»

5

— Снегу-то, снегу! Чистый, нехоженый, весь в искрах! Снегу-то, по пояс лес завалило! А вон заячья тропка, петляет, юрк в кусты! Эй, зайчишка, ау! Небось дрожит под кустом. Не дрожи, мы не тронем. Леопольд, не пали́ в него, если выскочит. А тут что? Скорлупок под елкой насыпано, словно в базар. Белка тут орешками щелкает. Наверно, у нее склад на елке в дупле. Старая елка, рада небось, что беличье семейство приютила до лета, все-таки польза. А что, скучно без пользы жить? Если ни для кого от тебя радости нет? Скучно? А белкам приволье у нас. Зимы на три в запас орехов накапливают, живи-поживай без заботы. Щелкай скорлупки, сколько душа пожелает. Ой, гляди, солнце низко. Не забранились бы хозяйки, боюсь. Ушла до вечера, а работать кому?

— Не все же работать,— сказал Леопольд.

— Работы-то хватит, да я спорая. Елизавета Васильевна хвалит меня не нахвалится. А я взяла да ушла в лес до вечера. Ты увел. Поглядеть захотелось, как ты охотничаешь, а ты и не стрельнул ни разочку. Умеешь ли? Может, зря ружье носишь, для виду?

— Ах, для виду?

Леопольд скинул с плеча ружье.

— Вон та сосенка, заметь, как срежу макушку.

Пли! Сосенка закачала ветвями, осыпая снежную пыль, а макушки как не было. Леопольд повесил ружье на плечо. Пошли дальше.

— Не забранились бы дома,— вздохнула Паша.

— Разве твои хозяйки бранятся? И не похожи они на хозяек, хозяйки строжат, приказывают, а твои? — сказал Леопольд.

— На всем свете других таких не найти, как мои! Чем бы к делу с первых дней приучать, а они грамоту мне объясняют. Диковинно даже.

— Про меня ничего не говорили, что я у вас каждый день? — спросил Леопольд.

— Ой, что ты! Что ты! Они страсть как любят тебя! А ты не упускай, ты ходи, ты разуму у нас навек наберешься.

— Я не затем только хожу, чтобы разуму у вас набираться, — сказал Леопольд. И вдруг покраснел, вся кровь хлынула в лицо.

И Паша вспыхнула, отвернулась и закричала радостным голосом:

— Гляди, солнце багровое! Оно к ветру такое! Ветер завтра с Енисея задует. Ой, домой поторапливаться надо. Наши ужину скоро запросят. Пишут, пишут свои книги, да и проголодаются.

— Паша! — позвал Леопольд.

— А? — негромко уронила она.

Они стали отчего-то посредине дороги. Молчание. Шумно и радостно билось сердце у Паши.

— Знаешь, как матка моя тебя называет? Старшого сына нашего ясна пане́нка,— сказал Леопольд.

— Еще чего? Смеешься? Смеется твоя мать. Придумываешь все ты!

Паша зашагала вперед, в смущении дергая и теребя на груди толстую косу и нетерпеливо ожидая, чтобы он еще говорил, еще называл ее ясной паненкой.

— Не придумываю,— идя рядом с ней, говорил Леопольд.— Матка тебя зовет ясной паненкой. Плохо?

— Неплохо. Да ко мне не пристало. Ты книжки читаешь, а я что?

— Что ты? Тебя выучили грамоте, и ты читай.

— Ну, стану читать, а дальше? Читай не читай, чего мне здесь ждать-то?

В цветном полушалке, с переброшенной на грудь толстой пшенично-

го цвета косой, синеглазая, сердитая, она требовательно спрашивала:

— Чего мне здесь ждать? У вас рано ли поздно кончатся сроки, а мне чего ждать?

— Как чего? Ты не веришь, что з т о настанет?

Они шли лесом, поредевшим — в просветы между деревьями уже виднелись поля до самого Шушенского,— шли молчаливым, пустым зимним лесом, никто не мог их услышать, но слово «з т о» Леопольд сказал тихо.

— Ты е м у веришь? — еще тише и значительнее спросил Леопольд.

— А он мне про з т о и не говорил ничего. Он со мной не говорил.

— Я тебе говорю. Умеешь молчать?

— Вот те крест!

— Не крестись. Ведь знаешь, что бога нет! Бога нет, креста нет, того света нет!

— Ну, ладно, ладно. Ты о том говори.

— О том? Могу поклясться, что з т о будет. Может быть, осталось недолго. Царь падет, жандармы, купцы, ксендзы, попы — мы прогоним всех.

— И нашего батюшку?

— Опять зовешь батюшкой? Зови попом. И ваших шушенских богатеев прогоним. Чего ждать? Новой жизни. Тогда все будет ново. Если захочешь, поезжай учиться в Красноярск или даже в Петербург, куда душа пожелает.

— Так меня и пустили! Деревенскую-то девчонку разве пустят?

— Тогда не будет разницы, деревенский ты или городской человек, дворянин ты или крестьянин, русский или поляк...

Он умолк. Оборвал. Словно туча нашла. Нахмурились брови. У него упрямые брови. Все в нем упрямое.

Давно уже дядя Ян Проминский с семьей живут у них в Шушенском ссыльными, а у Леопольда Проминского все городской гордый вид. Лицо светлое. К нему и загар не пристает, он и летом все светлый. Шушенские девки завидуют: нас бы так на жнитве солнышко миловало. Тонкий, высокий. И странный, однако.

— Леопольд, что ты уж больно о Польше своей убиваешься? Наши ребята ни в жизнь не скажут про сторону свою, что родимая, у нас засмеют...

— Потому что вы... они... ведь вы не в ссылке. И я, когда жил дома, в Лодзи...

Леопольда послушать, нет города лучше чем Лодзь. Вот отчего он ходит за ней, думается Паше. Она слушает Леопольдовы рассказы о Польше. Вовсе не оттого, что Паша «ясна паненка», ходит за ней Леопольд, а оттого, что тоскует о Польше.

— Нет у нас Польши!

Он зло подшвырнул носком снег. Когда Леопольд сердится, у него бледнеет лицо, сдвигаются над переносицей брови. Паше боязно и жалко его.

— Ладно, Леопольд.

— Что ладно? Нет у нас Польши! Нас разорвали на части. Немцы нас захватили. Русский царь захватил. Испытала бы ты... как зто, если бы тебе приказали: забудь, что ты русская. Я поляк и не хочу забывать!

— Ладно, Леопольд.

— Когда-нибудь мы добьемся свободы. Когда в Лодзи была забастовка, мой отец показал им. Недаром его сюда, в Сибирь упекли. Мой отец революционер.

При этих словах Леопольд вскинул голову. Как он вскидывает голову — неприступно, будто какой королевич! Будто не старенькая на нем козья дошонка, не стоптанные ичиги на ногах. На нем незаметна одежда, даже в старой дохе похож на королевича.

— Мой отец революционер. Владимир Ильич моего отца уважает.

— Владимир Ильич хороших людей уважает.

— Отец не просто хороший. Революционер и марксист.

Паша промолчала. Она плохо разбиралась в марксизме.

Между тем солнце спряталось за деревьями. Февральское солнце, потому что этот поход Леопольда и Паши в шушенский лес случился раньше описанных в первых главах петербургских событий.

Они вышли из лесу. Вдали величественно поднимались снеговые громады. Тяжелые, вечные. Подставили небу плечи-хребты. Небо прилегло на хребты. Край вершин был еще светел, а по склонам стекали синеватые тени, густели в складках расщелин, сбиваясь темнее и глуше у подножия громад. Саяны. Все стало иным, торжественным, важным. Могучим спокойствием наполнилось все.

Красный, слегка затуманенный шар спускался к закату. Над горизонтом разлился розовый свет. Вечернее солнце не слало на землю лучей, сверкание снега утихло, снег медленно голубел. Хмурели Саяны, затягиваясь фиолетовыми сумерками. Солнце ушло. Заря быстро остыла. Наступил вечер.

— Леопольд, почитай,— сказала Паша.

Она знала, чем его рассеять. Когда на него внезапно налетала эта тоска, утешать его надо Мицкевичем.

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.

Паша знала эти стихи наизусть. Леопольд то и дело читал: «Три у Будрыса сына...»

Одного посылает отец за добычей, второго посылает отец за добычей, а у третьего в Польшу дорога. Не за добычей дорога.

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя наделили? Что там? Ге! Не рубли ли?»
«Нет, отец мой, полячка младая».
Снег пушистый валится, всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.
«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?»
«Нет, отец мой, поличка младая».
Снег на землю валится, -третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет.
А гостей на три свадьбы сзывает.

Паша любит слушать, как Леопольд читает стихи Мицкевича про молодых полячек. Отчего-то грустно ей от этих стихов.

— Леопольд! Кончится у отца ссылка, уедете в Польшу, и забудешь про Шушенское.

— Татусь вторую зиму бьет зайцев, братьям-сестрам шубы шить из заячьих шкурок. Сколько нас у отца, посчитай. Шестеро. Подготовиться в дорогу дальнюю надо, одеться. Непросто.

— Уедете, и забудешь про Шушенское,— повторила Паша.

— Не забуду.

— Не зарекайся, забудешь. Ой, поздно, наши небось хватились меня.

И она быстро-быстро побежала вперед, похрустывая на снегу новыми валеночками. Кажется, во всю жизнь лучших не было, вот что значит своим трудом заработаны валенки! Необыкновенные все-таки ссыльные люди, к которым, на счастье, привела Пашу бедность. Не была бы бедной семья, не отдала бы мать Пашу помогать по хозяйству к Ульяновым и не узнала бы Паша этих людей, Владимира Ильича, Надежду Константиновну, Елизавету Васильевну. И с Леопольдом, может, не встретилась бы.

На сенокосах траву не косит, на гумне не молотит, безземельные они, безлошадные, бескоровные, где встретиться? Еще загвоздка, из ссыльных он. На ссыльных у нас осторожно поглядывают. Чужаки, пришлые.

6

Незаметно они дошли до села. За спиной у них непроглядная те-

мень полей. В Шушенском неярко желтели огоньками окошки, зажгли в избах камельки и лампы. Со двора доносился скрип журавлей колодцев. Поили скотину.

Но вот позади заслышался звон колокольцев, ближе, звонче, и пара седых от изморози коней, запряженных в кошеву, догнала их у въезда в село.

— Стой!

Заиндевевшая лошадиная морда едва не легла на плечо Леопольду, дохнула теплом в ухо.

— Гей, охотник! — натянув вожжи, сипло крикнул ямщик. — Как тут проехать...

— ...к ссыльному Владимиру Ильичу Ульянову, — договорил другой голос.

Леопольд увидел барашковую шапку, из лисьего воротника глянуло лицо, молодое, широкое, с наведенными инеем белыми усами и бородой.

— Что ты молчишь? Как проехать к Ульянову?

Леопольд молчал, поправляя на плече ружье.

— Что за чудак, молчит! Ямщик, трогай. На селе спросим, скачи! — нетерпеливо торопил приезжий в кошеве.

— Прямо поезжайте, — как подтолкнутый, живо сказал Леопольд.— Все прямо, на край села поезжайте.

Ямщик дернул вожжи — кони помчали кошеву.

— Ой, Леопольд! Зачем ты не туда их послал?

— Надо. Бежим!

Они пустились бежать по селу.

— Скорей беги, Паша!

— Бегу.

Село Шушенское — большое волостное село. Больше версты тянется главная улица. Нерушимо стоит на главной улице кирпичная церковь. От церкви отступив — питейные заведения, полные пьяным народом и гамом, дальше купеческие лавки с товарами, заезжий двор, из ворот несет теплым навозным запахом, слышится лошадиное ржание. Вдоль главной улицы бревенчатые кулацкие избы, каждая — двести лет простоит. Заборы высокие, калитки на запорах. А то рядом с хоромами горбатится вросшая в землю избенка. Впрочем, такие захудалые избенки ютятся больше в проулках да на задворках. Веснами и от осенних дождей грязи в Шушенском: ни пройти, ни проехать!

Есть в селе Шушенском маленькая аккуратная улочка, прямо ведет к реке Шуше. Над рекой Шушей есть дом.

Паша с Леопольдом прибежали сюда. А кошевы не видно.

— Ой, что там у нас, ой, батюшки-матушки! — шепнула Паша, потихоньку от Леопольда крестясь мелким крестом.

Тревога Леопольда передалась ей. Уж не жандармы ли с обыском? Или иной лихой человек? А где же кошева? Ой, да ведь Леопольд на край села ямщика отослал. Сейчас прискачет обратно ямщик, злющий, что дорогу неверно сказали. Наших скорее упредить.

Они вошли в сени. Непонятный звук мерно и часто доносился из кухни.

— Ой, батюшки-матушки, что там?

А там Елизавета Васильевна присела на корточки у печки и тукает косарем, смолевые чурочки колет. Рыжая Женька сидит рядом, с хитрой мордой поколачивает об пол хвостом.

— Елизавета Васильевна! Да что вы? — кинулась Паша. — Да у меня их за печкой на всю зиму запасено, да я в минуту, ступайте из кухни, я в минуту самовар вздую, гости, что ли, у нас?

— Петербургский товарищ Михаил Александрович Сильвин. В село Ермаковское ссыльным едет, по дороге к нам завернул, — поднимаясь с корточек, сказала Елизавета Васильевна.

— А мы у околицы встретили их,

испугались с Леопольдом, не жандармы ли скачут. Ан это гость. Рады наши-то?

— Как же не рады! Паша, деточка, пельменей из кладовки достань. Угостим гостя сибирским кушаньем.

Сказано — сделано. Закипела работа. Зашумел под трубой самовар. На шестке разложили огонь варить стукающие, как камушки, с морозу пельмени. Постелили на столе чистую скатерть, расставили тарелки.

— Елизавета Васильевна, однако, готово. Зовите.

— Уже и готово? Быстрая, умница! Зову сейчас.

За стеной, где у Владимира Ильича рабочая комната, задвигали стульями. Встали, идут.

Паша навстречу из кухни с глиняной миской, полной пельменей. Из миски валил вкусный пар, и вся торжественность момента отражена была на сияющем лице Паши.

— Михаил Александрович, пожалуйте к ужину! — приглашал Владимир Ильич.

— Удивительно, что вы делаете, Владимир Ильич! В условиях ссылки такое исследование, в глуши, в Сибири, вся обстановка ваша такая творческая, по-ра-зи-тельно!

Гость говорил, говорил. Разводил руками, размахивал. Вскидывал плечи.

— Что касается будущего, Владимир Ильич...

Он стоял у порога, загородив ход к столу, все говорил. Владимир Ильич тоже стоял. Слушал и щурился. Видно было, гость ему близок. Но случайно повел взглядом на Пашу, увидел миску с пельменями и сейчас догадался, как она волнуется, бедная, что остынут пельмени.

— Этот человек, — кивнув на Пашу и улыбаясь, сказал Владимир Ильич, — это Паша Мезина, наша помощница, от нее зависит, закончим мы с Надей в срок нашу работу или нет.

Паша смутилась, и Надежда Константиновна вся закраснелась от его слов и стала румяной, хорошенькой, ах как Паша любила свою молодую хозяйку!

— Ты пишешь книгу, Володя, я негромкая сила, всего переписчица, — сказала Надежда Константиновна. И, от застенчивости торопясь перевести разговор на другое, захлопала в ладоши: — За стол, товарищи! Пашенька, умница, ставь пельмени.

Все уселись за стол и без лишних проволочек принялись за пельмени, похваливая:

— Ай да Паша! Ай да стряпуха!

Пашу звали за стол, но она ни за что не соглашалась садиться, не до еды ей, какая еда! От переживаний она лишилась аппетита, да и бегать надо за добавкой на кухню, хлопот по горло!

Леопольд тоже отказывался, но его усадили.

— Этот товарищ интересуется вопросами социализма и уже порядочно знает, — сказал Владимир Ильич.

Леопольд чуть не подавился пельменем. Он любил слушать, ловить, замечать жизнь и речи в доме Ульяновых, но когда его самого замечали, стеснялся мучительно. Трудно представить, до чего он был самолюбив и застенчив с людьми, которых считал выше себя. Из самолюбия он прятался в тень. Где его смелый и заносчивый вид?

Он не ответил Владимиру Ильичу, не подыскал слов для ответа, а гость взглянул на Леопольда внимательнее и вдруг узнал их с Пашей.

— Позвольте, ведь это вас мы нагнали у села? Вы были с ружьем, да, это были вы. Вы не туда показали ямщику дорогу. Почему?

Несколько секунд Леопольд сидел онемевший.

— Просто мы... пошутили.

Вот так нашелся, умник-разумник!

— Ой! — выскочило у Паши. Она зажала ладонью рот.

Владимир Ильич положил вилку и пристально на нее поглядел. На Леопольда. Еще на нее. И ничего не сказал. Только доброта и задумчивость прошли по лицу.

«Ничего мимо не пропустит. Обо всем угадает. Ровно колдун», — подумала Паша.

— Гм! Хорошенькие шутки, — усмехнулся Сильвин.

Михаилу Александровичу Сильвину не терпелось вернуться к разговору. От Владимира Ильича он ждал ответа на все кипевшие в нем вопросы. Наши планы на будущее. Наша деятельность. Не вечно же ссылка! Что дальше? Как дальше?

Паша носила на кухню посуду, притащила самовар, расставила чашки для чая, убегала, вбегала и ловила разговор хозяев с гостем урывками, а Леопольд весь ушел в слух. Приличие требовало встать из-за стола, сказать хозяйкам спасибо. Но он словно к месту прирос. Страсти разгорались. Говорил Владимир Ильич.

— Именно сейчас, пока мы здесь как будто в бездействии, необходимо продумать каждый шаг, точно наметить путь, а когда время настанет, без колебаний приступить к выполнению плана. На многие годы. На многие, многие годы!

Он не сказал слово «партия». Но говорил о партии. Все понимали, о чем он говорил. Партия раздроблена, расшатана, ее, в сущности, нет, ее надо создавать снова. Весь вечер он говорил об этом.

Леопольд. слушал, не спуская с Владимира Ильича взгляда.

«Сейчас выйдет из-за стола, будет ходить». Так и есть, встал, начал ходить. Леопольд знал все его привычки. Всегда волновался, слушая его. Владимир Ильич говорил прямо ему, только ему, чтобы он, Леопольд, знал, понимал, делил с ним его долю и дело, не боялся тюрьмы и жандармов, не боялся страха и верил: революция будет! Они сделают революцию. Они должны сделать, они! Владимир Ильич говорил это ему, Леопольду.

Вошла в комнату Паша. И, дернув плечами, с недобрым в глазах огоньком:

— Там проверка к нам.

Елизавета Васильевна чиркнула спичку, закурила, медленно пустила сизый дым.

— А сердиться незачем, детка. Бесполезно сердиться.

— Мамочка, ты наш Ушинский! — засмеялась Надежда Константиновна.

Дверь запищала, приоткрылась. Как-то боком, словно нарочно стараясь войти неудобнее, протиснулся в щель неказистый мужик с реденькой, как из мочала, бороденкой. Надзиратель Заусаев, исполнявший слежку за ссыльными. Оглядел людей за столом. Приметил чужого. Вытащил из-за пазухи тетрадь в переплете. Выпятил для важности грудь.

— Политический ссыльный Владимир Ильич Ульянов на месте?

Он приходил сюда каждый день, два раза в день, утром и вечером, проверять, на месте ли ссыльные. Обычно обходилось без казенных вопросов — подсунет тетрадку Владимиру Ильичу, Надежде Константиновне — и дальше. Надо всех ссыльных на селе обойти, а еще и своя есть по хозяйству работа. Своя рубашка ближе к телу, не упустить бы свое. Но сейчас в доме была неизвестная, посторонняя личность. Надзиратель считал, перед посторонней личностью надо себя показать, кто он таков, какие его права и обязанности.

— Политический ссыльный Ульянов на месте?

— Нет на месте Ульянова.

Заусаев оторопел от такого ответа, не понял.

— Ка-ак? А-а... это кто такой тут стоит?

— Вы не видите, кто тут стоит?

Надзиратель услышал за столом смех. Правда, негромкий. Надеж-

да Константиновна и Елизавета Васильевна усмехались обидно, но не громко. Громко, нахально смеялся мальчишка с упрямыми и злыми бровями и таращил глаза. Этого мальчишку надзиратель не терпел за его дерзкий взгляд, в котором таился вызов. Избил бы за смех. Но... смолчал. Не посмел. Ссыльного Ульянова Владимира Ильича устыдился. Нет у Владимира Ильича Ульянова над ним власти, наоборот, он, Заусаев, вроде как над Ульяновым власть. А робеет Ульянова. Отчего? Какая-то сила в нем. Держит тебя его сила, не дает воли. Не только ударить — замахнуться не дает на мальчишку!

«А что Владимир Ильич посмеялся над тобой, так за дело, не кочевряжься, простой ты сибирский мужик и должен правильному человеку сочувствовать».

Надзиратель переступил ногами, помялся:

— Владимир Ильич, распишись. Требуют. Что ты будешь делать, начальство велит.

Владимир Ильич взял тетрадь, расписался. Молча. Без шутки. Молча расписалась Надежда Константиновна. Сильвин вынул из кармана свидетельство, утверждающее его личность и маршрут до села Ермаковского. Надзиратель повертел бумажку так и сяк и вернул.

— До свиданья, однако.

Когда в кухне захлопнулась входная дверь, Надежда Константиновна сказала:

— Он неплохой, по существу, человек. Почти неграмотный он.

Никто не ответил. Елизавета Васильевна объявила, что пора стелить постели на ночь.

Гость оставался ночевать. Надежда Константиновна с Пашей стали готовить гостю белье.

Леопольд простился, взял в углу кухни ружье и вышел из дому. Огромное небо мерцало звездами над селом. Горло Леопольда сжимали счастливые слезы. Кому-то он был благодарен. Кого-то любил. Предчувствие чего-то большого и высокого, как это небо над Шушенским, поднялось в нем. Жадно дышала грудь. Дул ветер. Паша угадала, красный закат к ветру. Ветер поднялся, летел и спешил и нес к Шушенскому чуть внятный запах еще не близкой весны.

7

«Найти бы предлог, для чего к ним закатиться», — думал на другой день Леопольд.

Дом Ульяновых он навещал каждый день. Известно, в Варшаве и Петербурге есть университеты, где юноши учатся избранным наукам, слушают лекции. Леопольд ходил к Ульяновым как в университет. Но не с утра же. Нынче стал собираться с утра, боясь пропустить случай: наверное, за чаем Владимир Ильич опять разговаривает с товарищем Сильвиным до отъезда его в село Ермаковское. А! Вот и предлог вполне уважительный — «Господа Головлевы», сочинение М. Е. Салтыкова-Щедрина. Книжку за ремень под дохой — и к двери.

Голос от окошка:

— Куда?

У окошка тощий, высокий отец сутулится над заячьей шкуркой, шьет заказчику шапку. В Лодзи отец был шляпочником, валял и выкраивал разные модные шляпы, шапки, фуражки, цилиндры, кепи. Отец был мастером в Лодзи. Здесь, в Шушенском, редко перепадали заказы. Перепадет — отец старался подучить Леопольда: хоть какое дать в руки дело на будущее.

— Татусь, можно я потом тебе помогу? Очень мне надо идти.

Отец поднял от работы медленный взгляд.

— Надо — иди.

Отец неразговорчив. Болит у отца душа за семью: шестерых детей обуй, одень, накорми. А в будущем что? Но оханья и ругани в доме не

слышно. Отец не жалуется на свою несправедливую жизнь. Мама иногда поворчит.

Леопольд пришел к Ульяновым, как всегда, в радостном ожидании нового. У них не бывает скучно и буднично. Всегда у них интересные разговоры.

Возле порога лежала Женька, вытянув морду на лапы, и зорко глядела. У Женьки бурно-активный характер. Охотник и сторож живут в ней рядом. Неизвестно, кто держит верх. Когда Леопольдов отец и Оскар Энгберг заходят за Владимиром Ильичем с ружьями, Женька вмиг соображает, куда они собрались, охотничий инстинкт мощно в ней поднимается. Нестерпимое волнение охватывает Женьку. Она егозит, подскуливает, виляет хвостом, скребется в дверь, с надеждой заглядывает в глаза Владимиру Ильичу, тычется мордой в колени, молит: возьмите меня на охоту, возьмите!

Как счастлива, когда Владимир Ильич свистнет:

— Дженни! Идем.

А когда надо сторожить — сторожит серьезно и рьяно.

Завтрак у Ульяновых кончили, но все оставались за столом. Елизавета Васильевна с папироской над остывшей чашкой чаю. Владимир Ильич неторопливо прохаживался по комнате. Говорили о товарище Анатолии Ванееве. Многих товарищей Владимира Ильича Леопольд знал по рассказам. Особенно Анатолия Ванеева. Владимир Ильич особенно его любил. Его и Глеба Кржижановского. Кржижановский здоров и не так далеко от Шушенского, а Ванеев далеко и болен. Опасно, кажется, болен.

— Нужно что-то предпринять! Необходимо вытащить его, нельзя его там оставлять, у черта на куличках в холодном ледяном Енисейске! — говорил Владимир Ильич. И прохаживался медленными шагами по комнате. — Поразительно цельный человек! — сказал Владимир Ильич, остановившись возле деревянного дивана с высокой спинкой, где сидел Сильвин. — О ком, однако, я вам рассказываю! О земляке, нижегородце, ведь вы в Питере все студенчество в одной комнате с Ванеевым прожили, да?

— С Ванеевым можно жить, — согласился Сильвин.

— Случилась мне позарез нужда в некоторых статистических сборниках, — рассказывал Владимир Ильич, — это когда еще мы в Петербурге в предварилке сидели, так Ванеев узнал, из тюрьмы в Нижний знакомым писал, чтобы достали. И отсюда, из Сибири, заказывал книги, когда была надобность. Я ему напишу, он в Нижний напишет. Вот человек активного добра и истинный товарищ, а, Леопольд? — неожиданно быстро обернулся Владимир Ильич.

Как всегда, Леопольд не нашелся ответить. Нахмурил брови, будто обдумывая трудноразрешимый вопрос. Уж эта его стеснительность, или попросту трусость, беда его!

— Умная книжица? А? — увидел Владимир Ильич у Леопольда за ремнем Салтыкова. — Принес поменять? Что на этот раз тебе выбрать? Снова Салтыкова? Нет? Что же? Политику? Прекрасно! — Он вышел, разыскал на полке у себя книгу Энгельса «Развитие научного социализма». — Получай. Смотри осторожнее с этой книгой. Со-циа-лизм! Они от одного слова «социализм» в набат бить готовы. Читай не спеша. Это произведение нельзя торопливо читать.

— Михаил Александрович, — обратился он к Сильвину, — что мне в голову пришло: там, в Ермаковском, куда вам лежит дорога, у меня есть знакомый доктор Арканов Семен Михеевич, напишу-ка я ему письмецо о вас.

— Спасибо, Владимир Ильич, может, не стоит?

— Отчего же не стоит? Очень даже стоит! Мало ли какие по при-

езде затруднения встретятся! Он там всех местных жителей знает. С квартирой может вам посоветовать. Сейчас и напишу.

И дверь затворилась за ним в его комнату. Женька поднялась от порога, не спеша перебралась к закрывшейся двери, там затихла.

— Как у вас хорошо! — внезапно воскликнул Сильвин. — Как вы счастливы, что у вас семья!

— Михаил Александрович!

— Милый Михаил Александрович! — в один голос ответили мать и дочь. — А вас что останавливает, Михаил Александрович?

Паша не понесла посуду на кухню, поставила на край стола и сама с загоревшимися глазами приткнулась на кончик дивана.

— Что держит? Признаться? — колебался Сильвин. — Держит любовь! Слишком сильная любовь, может быть, — признавался он с пафосом. — Держит боязнь доставить ей неудобства и трудности. Страх за нее. Ведь сломается жизнь, привычки, быт — все! Слишком я люблю ее, чтобы принимать ее жертвы, не хочу подвергать ее превратностям судьбы, какие могут выпасть на долю жены политического ссыльного в неизвестном сибирском...

Он не договорил, споткнувшись о взгляд Надежды Константиновны, немного грустный, немного насмешливый.

— Непонятная у вас любовь.

— А не у нее ли любовь непонятная? — спросила мать.

— Мамочка! Может быть, она не уверена... может быть, ждет, чтобы он... чтобы вы, Михаил Александрович, открылись. Вы не уважаете ее, Михаил Александрович.

— Что вы говорите! — оскорбленно воскликнул Сильвин. Вскочил. Сел. Опрокинул недопитый стакан.

— Ой! — вырвалось у Паши. Но не побежала за тряпкой.

— Разве уважение это, если вы думаете, что она боится кинуть город, привычки, устроенный быт? Любовь — и привычки? Разве это сравнимо? А делить судьбу мужа, политического ссыльного? Разве не гордость и счастье для женщины делить такую судьбу? Быть участницей его планов и замыслов, его дела. Служить вместе делу! Или, может быть, она вас не любит? Скорее, скорее забудьте о ней, она вас не любит.

— Она меня любит.

— Что-то не верится, — усмехнулась Елизавета Васильевна. — Вас в кошеве мчат в село Ермаковское, а она... А вот и лошадь подали.

Правда, под окном завиднелась дуга с нарисованной розовой розой, призывно пробренчал колоколец.

— Она меня любит, — сказал Сильвин. — У меня миллион доказательств.

— Нужно одно — желание делить судьбу мужа.

— При нужде и щи сварить, не все только высокие материи, — вставила Елизавета Васильевна.

— Делить труд, угрозы, опасности. И если смерть...

Мать перебила:

— Не будем о смерти. Это еще что за мрачные мысли?

Дверь из комнаты Владимира Ильича распахнулась, он быстро появился на пороге.

— Получайте письмецо, вы не с тяжелым сердцем уезжаете, Михаил Александрович?

— Уезжаю с сердцем, полным счастья и безумных надежд! — пылко ответил Сильвин.

Владимир Ильич даже попятился.

— Что тут у вас? Тайна? Знаю, обожаете тайны. Но дудки! Давайте выкладывайте. Ну, ну, давайте, давайте!

Он обвел всех выпытывающим взглядом, задержался на Леопольде.

— К Михаилу Александровичу скоро приедет невеста! — выпалил Леопольд неожиданно для себя самого.

Что началось!

— Браво, браво! Отлично, преотлично! — принялся поздравлять Владимир Ильич, хлопая Сильвина по плечу. — Ко всем нашим невесты приехали. Разве ваша хуже других, что оставит вас в одиночестве? Молодец, умница! Милостивый государь, что же вы такую важную новость под конец берегли?

— Как я вам благодарен! — с чувством сказал Сильвин.

Теперь он знал, зто решилось. Вчера еще было неизвестно, а сегодня решилось, твердо решилось оттого, что они помогли и подсказали ему, его друзья и товарищи. Один он еще колебался бы, рассуждал бы и взвешивал: как ей будет, да не жертва ли зто с ее стороны? А хоть бы и так? Что за любовь, когда боится жертв?

— Всему вашему дому спасибо, Владимир Ильич! И тебе!

Он обнял Леопольда, у того косточки хрустнули, так от избытка чувств его обнял Сильвин.

С улицы долетел колокольчик. Дуга с розовой розой под окном напоминала о необходимой дороге.

Елизавета Васильевна распорядилась перед отъездом присесть. Сели. Леопольд и Паша рядышком на пороге. Женька положила морду Владимиру Ильичу на колени. Он почесал ее за ухом. Женька благодарно стукнула об пол хвостом.

— Когда ваша невеста соберется сюда, попросите, пожалуйста, чтобы, елико возможно, заехала к нашим, — сказал Владимир Ильич.

— Непременно, Владимир Ильич!

«Они уже говорят о ее приезде, как о деле решенном», — удивленно и радостно подумал Сильвин.

Ну, можно вставать. Стали прощаться, что-то приветливо и сумбурно наказывать Сильвину, и он им.

— Не унывайте, не болейте. Устраивайтесь.

— Желаю удачно закончить книгу, Владимир Ильич!

И на крыльце все прощались:

— До свиданья. Хорошо у вас, по-семейному.

— А вы торопите невесту, и у вас по-семейному будет. Пишите, как там, в Ермаковском!

— Ступайте, ступайте в дом. Простудитесь! До свидания.

Женщины ушли, смотрели в окно. Улыбались, кивали, махали, как все всегда при отъездах. Владимир Ильич, накинув шубу на плечи, стоял на крыльце.

— Дом-то какой у вас, Владимир Ильич. Вчера вечером второпях не заметил.

Сильвин занес ногу в кибитку, но не садился, с любопытством разглядывая дом. Что-то в зтом доме отличное, особинка какая-то, поэтический штрих. Два точеных столба, как колонны, поддерживают крышу крыльца. У крыльца нет перил, три длинных ступени. И все. А среди всех — дом особенный.

— Верно, особенный, — подтвердил Владимир Ильич. — Строили по чертежам декабриста Александра Фролова. После каторги в Шушенском жили на поселении два декабриста. Потом польские революционеры ссыльные жили. Теперь мы. Пусть бы на нас и кончились сибирские ссылки, а? Ну, поезжайте. Ермаковское почти рядом, верст пятьдесят. Что для нас, сибиряков!

— И-их, вы, родименькие! — занес кнут ямщик.

— Стой! — крикнул Сильвин. — До свидания, Владимир Ильич! Леопольд, а ты проводи.

Он втащил Леопольда в кошеву. Через минуту кони вымчали ее из проулка и несли по раскатанному следу по улице. Морозный ветер свистел в ушах, резал лицо. Видно, не близко еще до сибирской весны.

— Декабристы, поляки, мы... — в раздумье перечислил Сильвин. — «Мне грустно и легко. Печаль моя светла», — бормотал он стихи.

Но разговора с Леопольдом не получилось. Мешала маячившая



перед глазами спина ямщика в бараньем тулупе.

— Пожалуй, до свиданья, дружок, — скоро решил Сильвин. — Ты мне нравишься. Авось еще увидимся. А сочинение это, — он кивнул, подразумевая книгу Энгельса, сунутую Леопольдом за ремень под шубейкой, — весьма для нашего брата полезная штука!

Он сказал: «для нашего брата». Услыхал бы отец, какого о Леопольде мнения профессиональный революционер, товарищ Ульянова! Леопольд во сне и наяву мечтал стать действительно «нашим братом», у которого одна цель в жизни — бороться за волю родной, дорогой Польши! Дрога Польска. Свента Польска!

Он стоял посреди улицы и смотрел вслед кошеве, которая уносилась дальше и дальше, вздымая позади себя белое облако снега. И скрылась.

А ямщик не узнал Леопольда. Было бы Леопольду, если б узнал!

Но тут Леопольд заметил, что стоит против волостного правления и что с крыльца его манит писарь в одной жилетке поверх рубахи, с заложенным за ухо пером.

— Эй, ты, подь сюда, ты!

Леопольд подошел, удивляясь, зачем понадобился писарю.

— В контору ступай. Унтер требует.

После сегодняшнего тихого светлого утра в доме Ульяновых Леопольд словно в болото свалился, очутившись в замусоренной конторе, где в углу брошен был обшарпанный голик, горький дым стоял от махорки, на стене висел загаженный еще прошлогодними мухами портрет царя и царицы в коронах, а под царским портретом, расставив ноги, сидел жандармский унтер-офицер с шашкой. Сидел курносый, с рыжими глазами кот. Золотистые прямые усы перечертили его отвислые щеки. Он еще их прямил и расправлял пальцами то один, то другой ус.

— Государственного преступника провожать ездил? — спросил унтер, слегка громыхнув шашкой об пол.

Леопольд смешался. Он не мог сообразить, надо или нельзя спорить против того, что Михаила Александровича Сильвина назвали преступником. Не знал, как на этот вопрос отвечать.

— Брови супишь? — строже громыхнула шашка. — Засажу в кутузку, чтобы знал, как противу начальства хмуриться.

Леопольд снова смолчал. Леопольд ужаснулся. Если они его засадят в кутузку, не скрыть, что у него за ремнем. За ремнем у него книга Энгельса «Развитие научного социализма». Чья? Откуда? Нетрудно отгадать. А Владимир Ильич предупредил: «Они от одного слова «социализм» в набат бить готовы».

Леопольду показалось, книжка сползает у него из-под ремня. Ползет, ползет, сейчас шлепнется на пол. Он стоял ни жив ни мертв.

— «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети», — сипло промурлыкал унтер, прямя за кончики усы. — О чем между ссыльным Ульяновым и проезжим Сильвиным был разговор? — спросил он грозным голосом, от которого у Леопольда прошел по коже мороз, спросил тихо, ибо они не одни были в конторе: писарь, вынув из-за уха ручку с пером, старательно что-то писал, а на краешке лавки бочком ютился шушенский учитель, человек с толстым, как картофелина, носом, разрисованным лиловыми жилками.

— О чем был разговор? Отвечай без утайки.

— Об охоте.

— Несущественно. Дальше?

— О климате.

— О чем? О чем?

— О шушенском климате.

— То для отвода глаз. Дальше.

— О пельменях говорили. Как в Сибири на всю зиму пельмени морозят.

— Врешь! — выходя из себя, гаркнул унтер.

«Вру. И буду врать. И ни крошки правды не узнаешь, ори не ори»,— думал Леопольд, глядя на унтера своим светлым, дерзким взглядом.

— Имя! — Унтер стукнул кулаком по лавке. — Имя, фамилие спрашиваю!

— Леопольд Проминский.

— Леопольд! Что за кличка такая собачья?

— Поляки! Отец за недозволенность политического поведения выслан. Из таковских,— угодливо подсказал учитель, весь вытягиваясь в сторону унтера.

— Из шельм, стало быть, хе!

— Отец працовити работник, здольни, одважни! — бешено закричал Леопольд.

Он терял голову. Он на него бросится. Надает по морде унтеру.

Вдруг Леопольд почувствовал, книжка едет из-под ремня. В самом деле едет, он почувствовал. Это его спасло. Он не успел броситься на унтера. От одной мысли, что книжка Владимира Ильича попадет им в руки, внезапная бледность разлилась у него по лицу, он обессилел, у него задрожали ноги от слабости.

«Струсил»,— понял унтер.

И, сознавая неограниченность своей силы и власти, сказал почти милостиво:

— Ты на собачьем своем языке не лопочи, когда начальство с тобой разговаривает. На русской земле русский хлеб ешь. Позабудь про свое лопотание.

Что они сделали с Леопольдом! Как ему быть? Куда деваться? Подскажите, люди, товарищи, как ему быть?

Молчи, молчи. Пересиль себя. Они только и ловят, чтобы ты сплоховал. Не сделай ошибки! Им только и надо. Не попадайся им в яму. Они волки. Они тебя слопают.

— У меня не собачий язык, мой язык польский,— прыгающими губами сказал Леопольд.— Когда нашего великого Адама Мицкевича выслали из Польши в Россию, он не продал польский язык.

— Догрубишься, что отцу срок ссылки набавят. Мицкевича приплел. Адама какого-то. Тоже, чай, был... Ступай, брысь покамест. Да помни.

Леопольд вышел из конторы. У него были сухие, холодные, как льдины, глаза, но внутри он плакал навзрыд, когда шел из конторы. Если б можно было заплакать! Если бы можно прибежать к Владимиру Ильичу, рассказать, как унизили его! Бежать к Владимиру Ильичу? Книжка здесь, за ремнем. Бежать? Рассказать? Посоветоваться? Спокойно, Леопольд. Рассудим спокойно. Он работает, пишет книгу «Развитие капитализма в России». Лишнего часа нынче утром с товарищем не позволил себе посидеть. Беги. Выбивай его на целый день из работы. А если не стерпит, сцепится с унтером? Набавят в наказание срок ссылки. Нельзя. Татусь! Милый татусь, и тебе не скажу. Никому не скажу.

Леопольд быстрым шагом шагал по улице, тонкий, как прут, высокий и прямой. Крупная соленая слеза поползла по щеке. Он вытер варежкой щеку. Прикусил губу. Слез больше не было.

А Михаил Александрович Сильвин тем временем ехал да ехал в кибитке по направлению к селу Ермаковскому. После шушенских встреч на душе Сильвина было бодро и смело, так всегда на него действовали разговоры с Владимиром Ильичем. В то же время было одиноко и грустно. Грустней, чем всегда.

«Они любят друг друга! — думал Сильвин о Владимире Ильиче и Надежде Константиновне. — Им интересно и нескучно вдвоем, хорошо, что они вместе, благородный, прекрасный союз!»

Так думал Сильвин, а перед глазами у него была его Оля. Маленькая, хрупкая.

«Разве это любовь, если человек не может ради любимого человека отказаться от удобств, не от чего-нибудь, а всего лишь от привычки к удобствам?» — вспомнились ему недоумение и насмешка Надежды Константиновны.

«Вы правы, Надежда Константиновна, вы правы. Но это любовь».

«Я люблю тебя, Оля! — мысленно сочинял Сильвин к ней письмо.— Если бы на тебя упали испытания, я сделал бы все, чтобы облегчить твою жизнь. И мне совсем было бы это нетрудно. Потому что без тебя нет мне счастья. А ты любишь меня, Оля?»

Он сочинял ей письмо. Кошева летела. Снег брызгал из-под копыт, комья снега обжигали лицо. Ямщик молчал. Велено немного разговаривать с ссыльными.

Темнее, суровее подступала к дороге со стороны хребтов Саянских тайга, и, когда кони поднесли кошеву к селу, приподнятому на обширном пустом плоскогорье, у Сильвина сжалось сердце, такой холодный и жесткий был облик у села Ермаковского, где предстояло ему поселиться.

«Ольгуша, родная моя!..»

8

«Ольгуша, родная моя! Пишу из нового места, из села Ермаковского. Большое хмурое село! Поодаль тайга, возможно, не первого класса тайга, но близко к тому. Во всяком случае, забираться вглубь без ружья не советуют: рискуешь повстречаться с топтыгиным. Говорят, зимами в село забегают волки. В тихие ночи слышен их вой, выходят в поле и воют.

В первые дни в честь моего появления в Ермаковском разыгралась пурга. Проснулся утром, в окне мутная, белая мгла, несет, крутит, воет, свистит. Из сеней не открыть двери, намело гору снега, и все метет и метет, валит и валит! А в душе похоронный колокол: отрезан навек, навсегда от мира, от любимых людей, от тебя. Не сердись, что я ною и жалуюсь. Ты знаешь, я оптимистичный и земной человек, но иногда на меня нападает хандра, и я не могу с собой совладать, надо высказать, вылиться, а кому? Конечно, тебе! Ты умеешь так ласково слушать, представляю твои чуткие глазки в густых, темных-темных ресницах, глубокие, как два лесных озерца.

Оля, делаю тебе предложение: будь моей женой, смилуйся, согласись, не отказывай. Олюшка! Ольга Папперек, будь моей женой, другом и спутником на всю жизнь. Я бродяга по натуре, милая Ольга Папперек, нет у меня ни кола ни двора, но в селе Ермаковском я нашел на время избу довольно сносную, без тараканов, с широкими отмытыми добела половицами, лучшее украшение моей (нашей) новой квартиры — чистейший, белейший пол! Из хозяйства у меня, признаюсь, одна пепельница. Симпатичная пепельница, стоит себе посредине стола и всей избе придает интеллигентность. Можешь не беспокоиться, цветик, для окурков посудина есть, окурки не будут тыкаться в чайное блюдце или в угол подоконника, обещаю соблюдать идеальный порядок! Если моя маленькая Олюшка не захочет нюхать табачный дым — отводятся для курения сени. Подписываю договор: курить только в сенях. Еще строже: только на улице!

Шутки в сторону, Оля, я тебя люблю. Ты знаешь мои убеждения, взгляды и планы на жизнь. Согласна? Не боишься связать свою юность с моей рискованной жизнью, полной лишений и трудностей?

Не то я говорю! Ты отважная. Тихая. Тихая отвага не дрогнет. А спрашивать тебя нужно: любишь ли? Вот о чем надо спрашивать, потому что я не уверен. Любишь? Если любишь...

Оленька, село Ермаковское неприветливо. Во всем селе ни одного

сада. Ни одной вишни, ни яблони. Каково придется тебе после твоего утопающего в сиренях такого русского городишка Егорьевска? После твоей реки Гуслинки. Название-то какое: Гуслинка! Жалко расставаться с Гуслинкой.

В общем-то, в Ермаковском жить можно. Здесь есть доктор Семен Михеевич Арканов. У него сын двенадцати лет. Мне предложили готовить сына в гимназию. Как-никак заработок, и довольно приличный по здешним краям. Ты тоже могла бы давать уроки сыну Арканова...»

На этой строке письма Ольга Александровна прервала чтение и стала смеяться. Смеялась, смеялась чуть слышно, пока вдруг не всхлипнула и, выхватив из-за корсажа платочек, не закусила кружевную оборку.

«Не много ли учителей для одного сына доктора Арканова?»

На этом месте Ольга Александровна всегда прерывала чтение. Он придумывает ей эти уроки. Утешает ее. Может, и доктора Арканова на свете вовсе нет, все он придумывает, добрый Сильвин, одинокий Сильвин в селе Ермаковском! Почему-то на этом именно месте, когда она дочитывала до уроков, становилось невыносимо печально. Все могло бы быть по-другому. Могла быть обыкновенная счастливая жизнь. Ведь она совсем не героиня, Ольга Александровна Папперек, совсем ординарная девушка.

И все же она ответила «да». Она давно получила от Сильвина это письмо и ответила «да». Не жалко Гуслинку. Милый Сильвин! Знаешь, какая Гуслинка? Самая простая речонка, невзрачная, по берегам вся уставлена фабриками. Не искупаешься из-за фабрик, надо идти за город. Ничего хорошего нет в Гуслинке. А леса в Егорьевске близки, леса хороши. И их не жалко, пускай остаются. Не жалко лиловых сиреней в палисаднике. Только девочек жалко.

Ольга Александровна убрала письмо в комод, заперла ящик на ключ. Только девочек жалко...

В соседней хозяйской комнате низким голосом важно пробили стенные часы. Девять утра.

— Прощай, сад, — сказала Ольга Александровна, вернувшись к раскрытому окну.— Теперь совсем уже скоро прощай!

Под окном цвела сирень, сильно, празднично; росистые гроздья тянулись на подоконник, нежный запах плыл в комнату, вились над цветами пчелы; в кустах и деревьях свистели и вспархивали птицы. Было чудесное майское утро.

«Прощайте!» — подумала Ольга Александровна.

Постояла перед зеркалом, внимательно себя оглядела, поправила воланчик на кофточке. Она была одета в юбку из легкой черной шерсти и белую кофточку с кружевными воланами. Это была неофициальная форма в их прогимназии для праздничных вечеров или утренников. Сегодня утренник для выпускниц, ее девочек. Прощайте, прощайте.

Ольга Александровна вышла из дому пораньше, чтобы не встретить хозяйку. Хозяйка все выспрашивает, вздыхает:

— Вы из приличной семьи. У вашего папеньки в Саратове хорошее место. Ваш братец Георгий Александрович...

Все так. Ольга Александровна Папперек из приличной семьи.

«Родная моя Ольгуша, не обещаю богатств, не обещаю удобств, ни даже спокойствия, ничего не обещаю, только любовь».

Она знала письмо Сильвина наизусть и мысленно все время читала.

Оставалось недалеко до прогимназии на берегу Гуслинки, отгороженной забором, чтобы девочки не удирали в перемены на речку. Прогимназия в два этажа — низ белокаменный, верх деревянный, покрашенный в желтое, у высокого крыль-

ца кусты жимолости, сирень, тополя с грачиными гнездами. Грачи орут и галдят. На том берегу Гуслинки шумит бумагопрядильная фабрика Хлудовых. Башенные часы отбивают время.

Учительница Ольга Александровна, тебе дорого это? Ты привязалась к своей прогимназии рядом с тюрьмой? Одна-единственная в городе Егорьевске прогимназия для обучения девочек. Отцы города выбрали место. Возле тюрьмы.

Оставался квартал до прогимназии, когда от забора отделилась фигура и загородила ей путь. Филипп Иоганнович, помощник механика с фабрики Хлудовых. Негромкий, почтительный, из обрусевших англичан — когда-то дед его приехал из Манчестера на Егорьевскую прядильную фабрику мастером.

«Погоди, он еще будет главным инженером на фабрике, — говорил отец, когда, приезжая в Егорьевск, познакомился с ним и облюбовал в женихи Ольге. — Через пять — десять лет у него будет особняк и собственный выезд. А смекалка и порядочность и сейчас при нем».

— Доброе утро, — сказал Филипп Иоганнович. — Умоляю вас, — настойчиво говорил он, идя рядом с ней. — Пока не поздно, умоляю вас, не уезжайте в Сибирь! Я готов упасть на колени. Не уезжайте. Не губите себя.

— Не падайте на колени, Филипп Иоганнович, пыльно, поберегите костюм.

— Вы всегда подшучиваете надо мной, а у меня разрывается сердце при мысли...

— Напрасно, Филипп Иоганнович.

Ольга Александровна старалась идти быстрее, но стайка девочек в белых передниках и пелеринах обогнала их. Оглянулись, щебеча, побежали вперед, к площади, где возле тюрьмы среди грачиных гнезд стоит бело-желтый дом с просторными окнами. Со всех сторон сюда сходились группки веселеньких девочек в накрахмаленных пелеринках.

— Вон она! Вон она! Вон она, видите? — услышала Ольга Александровна.

— На вас почти показывают пальцем, — дрожащим голосом сказал Филипп Иоганнович. — Между тем ваш отец управляющий. Ваш брат учитель гимназии. И вы сами...

— Нам никогда не понять друг друга, Филипп Иоганнович!

Она быстро пошла через заросшую мелким просвирником площадь по тропке к крыльцу.

Коридоры пусты. Девочки ожидали по классам, когда классные дамы поведут их парами на молебен и утренник.

Ольга Александровна не заглянула к своим выпускницам. Кто знает, что могло бы получиться из этого. Как они отнесутся...

В учительской при ее входе смолкли. Замешательство воцарилось в учительской. Одна учительница, пожилая и всегда добрая к Ольге, громко простучала каблуками мимо нее, отвернувшись, и хлопнула дверью.

«Глупа, как все,— подумала Ольга Александровна. Но что-то оборвалось и заныло внутри. — Ты пишешь, что я отважная. Я не отважная. Мне ужасно среди них тоскливо».

— Это верно? — спросила другая.

— Что?

— Говорят, вы уезжаете в Сибирь? Что ваш жених политический ссыльный?

— Хотя бы так?

— О-о!

И эта улизнула. Подозрительно скоро учительская опустела. Лысый, страдающий одышкой учитель рисования, кряхтя, поднялся с глубокого дивана и, колыхая толстым животом, подошел.

— Голубушка моя, зачем вы? Ведь самого Бардыгина ожидают. Ведь я намекал. Марья Петровна

приказали, уф-пуф, чтобы я... Вам намекали...

— Не люблю намеков.

— Голубушка моя, пуф-пуф, зачем осложнять? Начальница тактичный человек...

Он жалко моргнул. Ольга Александровна знала, учитель рисования мечтает дотянуть до пенсии. Пожалейте его! Поглядите на его толстый живот!

— Вы передали, благодарю, я все поняла, никто не в ответе, что я здесь, я сама...

Ольга Александровна скорее ушла из учительской, от учителя рисования с его животом и одышкой.

Значит, ожидают Бардыгина, миллионера-фабриканта, всесильного Никифора Михайловича, в длинном сюртуке, с цепью городского головы на всю грудь, в белых перчатках, как обычно появляется он в торжественных случаях.

Бардыгин не прибыл. Супруга городского головы оказала честь прогимназии. Окруженная приседаниями, поклонами, расшаркиваниями, супруга, затянутая в корсет, с жемчугами на шее, проследовала в переднюю часть зала, где для почетной гостьи и начальницы были приготовлены кресла.

Девочки уже заполнили зал, построенные, как полагается, в четыре ряда по классам: первый класс, второй, третий. И четвертый, выпускной, ее класс. Возле каждого класса навытяжку классная дама. Никто не подошел к Ольге Александровне. Изредка она ловила на себе любопытные, пугливые взгляды.

Может, не надо было приходить на сегодняшний выпускной утренник? Ведь ей намекнули: не надо. Но неужели уехать, не повидав в последний раз своих девочек? Когда нас связывает столько светлых часов, столько важных разговоров, мыслей, так много связывает! Уехать? Не повидать на прощание?

В зале от пелеринок было бело. Священник в золоченой ризе, размахивая кадилом, возглашал строгие и пышные слова молитв. Хор из тонких девичьих голосов сопровождал молитвы священника. Солнце било в окна, мешая горячие лучи с синим чадом ладана и посылая сияние на склоненные русые, светлые, каштановые, курчавые и гладенькие головы девочек.

Ольга Александровна стояла сзади одна. Все тяжелее ей становилось. Одна. Будто не прожито вместе с этими девочками много дней, много месяцев, будто не встречалась с этими учителями ежедневно в учительской.

— Слышали, говорят, к нам опять из Москвы собирается Собинов?

— Неужели? Ах, душка Собинов. Опять вам на весь город красоваться, Ольга Александровна?

— Почему, почему?

— Да ведь в прошлый раз Ольга Александровна аккомпанировала Собинову. С того раза к нашей Олюшке и повалили поклонники.

— А вы книжку Надсона видели, в магазин наш прислали?

— Какие там Надсоны, у меня голова десятичными дробями забита.

— Фи, Павел Максимович, разве можно так узко существовать!

— А супруге директора бардыгинской фабрики, слышали, из Петербурга получено платье, прелесть, чистый Париж!

— Многая лета! Многая лета! Мно-о-огая лета-а!

Молебен кончился. После молебна произносила речь Марья Петровна. Две девочки под руки ввели ее на подмостки, сооружавшиеся всякий раз заново по случаю редких празднеств. Маленькая, с болезненно-желтым лицом, в синем шелковом платье, начальница говорила, обращаясь к супруге городского головы. Супруга с жемчугами на шее важно кивала из кресла.

В середине речи начальница подняла к глазам лорнет. Что такое? Кто там, в конце зала? Бывшая учительница Ольга Папперек! Как она смеет! По тишине, наступившей в зале, Ольга Александровна поняла, что девочки знают, что она тут. Начальница взяла себя в руки. Не опуская лорнета, устремив леденящий взор в конец зала, продолжала свою речь.

Теперь она говорила не о щедрости отцов города, благодеяниями которых существует вверенная ей прогимназия, а об отверженных обществом, преступивших закон, о неизбежной каре, которая не минует тех, кто оскорбил отчий дом ослушанием...

Шорох прошел среди пелеринок. Но никто не оглянулся. Классные дамы стояли на страже, каждая возле своего класса.

— Mesdemoiselles! — окончив речь, бесстрастно сказала начальница. — Вы услышите сейчас небольшой концерт, исполненный своими усилиями, вечером же, по обычаю, выпускницам будет дан бал.

— Merci! — раздалось из колонны выпускниц. Белые пелеринки по знаку классной дамы опустились в плавном реверансе.

Ольга Александровна смотрела на все это уже откуда-то издали, расставалась и не грустила. А отданы лучшие силы и волнения души! Неужели напрасно? Неужели сегодняшним балом с музыкой и кавалерами-гимназистами все и окончится.

Концерт открылся вальсом Шопена. Розовая пышная дочка одного из текстильных тузов города села к роялю. Ученица Ольги Александровны. Многих дочек в городе Егорьевске учила музыке Ольга Александровна, а мало радости доставалось ей от этих уроков. «Господи! Что она вытворяет из Шопена, эта сдобная булка! Полно, не уйти ли мне?»

Но уже представлялся следующий номер. Две сестрицы, незатейливые и простенькие, обучавшиеся на попечительский счет дочки старого сторожа бардыгинской фабрики, пели из «Пиковой дамы»:

Мой миленький дружок,
Любезный пастушок...

«Вы мои славные,— думала Ольга Александровна, растроганно слушая,— ваше будущее, я знаю, ясное, как ваше пение. Уедете обе в уезд учить в сельскую школу и не позабудете наши книги, наши клятвы».

— Стихи Майкова «Весна»,— объявила на смену певицам кокетливая девочка в локончиках.

«И твое будущее знаю, — думала Ольга Александровна о девочке в локончиках. — Довольно скоро Филипп Иоганнович или другой помощник механика сделает тебе предложение...»

А на подмостках стояла исполнительница Майкова. Темноволосая, бледнолицая, с упавшими вдоль тела руками и каким-то сумрачным светом в глазах. В зале среди пелеринок возникло движение. Ольга Александровна увидела: девочки торопливо и бегло оборачиваются к ней, посылают ей взгляды, и она схватывала в их взглядах участие и смятение и что-то, что любила и лелеяла в них.

— Я не буду читать Майкова,— громко отчетливо послышалось со сцены. — Я буду читать про Ольгу Александровну, нашу учительницу.

...Прости, прости!
Благослови родную дочь
И с миром отпусти!
Бог весть, увидимся ли вновь,
Увы, надежды нет.
Прости и знай: твою любовь,
Последний твой завет
Я буду помнить глубоко
В далекой стороне...
Не плачу я, но не легко
С тобой расстаться мне!
О, видит бог!.. Но долг другой
И выше и трудней
Меня зовет... Прости, родной!
Напрасных слез не лей!

Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя.
Но сталью я одела грудь...
Гордись — я дочь твоя!
Прости и ты, мой край родной.
Прости, несчастный край!
И ты... о город роковой,
Гнездо царей...

— Молчать! — Начальница вскочила с кресла, где сидела возле супруги городского головы. Взмахнула лорнетом, вся трясясь и топая.— Молчать! Не сметь! Вон со сцены! И вы, вы, вон сейчас же! — Она тыкала издали в сторону Ольги Александровны лорнетом. — Вон сейчас же, чтобы духу вашего не было в учебном заведении, вверенном мне! А ты! — кричала начальница, замахиваясь лорнетом на девочку на сцене. — Негодница! Кто тебя подучил? — И супруге: — Ради бога! Умоляю, не придавайте значения!

Среди пелеринок поднялся шум, вскрики. Классные дамы метались между рядами.

— Не сметь! Прекратить! Не сметь! Становитесь в пары!

Вызванный кем-то, появился швейцар в позументах, как в набат, зазвонил в колокольчик.

Бледная, страшно бледная девочка все стояла на подмостках, вытянув руки вдоль тела.

Ольга Александровна выбежала из зала. Набросила в учительской тальму на плечи, вырвалась на улицу, задыхаясь от счастья и любви к своим девочкам. Она едва удерживалась, чтобы не бежать по городу.

«Спасибо вам, девочки! Теперь я знаю, не зря здесь прожито время. Я счастлива, я ничего не боюсь, я молода, я верю: доброе не пропадет. Теперь спокойно в дорогу, скорее в дорогу!»

9

Но лишь в середине июля Михаил Александрович Сильвин встретил в городе Минусинске невесту и привез к себе в село Ермаковское.

Отъезд в Сибирь задержался. Перед отъездом надо было побывать в Подольске у матери товарища Михаила по Питеру, теперь соседа по ссылке. Кто сосед Михаила, почему его мать в Подольске — родина ее там или привели обстоятельства,— этого Ольга Александровна не знала. Сильвин чуть не в каждом письме писал: обязательно, всенепременно надо заехать! Ехать в Подольск надо было через Москву.

В те времена от Егорьевска до Москвы ехали через Воскресенск. До Воскресенска двадцать пять верст. Из Воскресенска в Коломну, а тогда уже в Москву. Одним ранним утром Ольга Александровна тронулась в путь. Паровоз свистел, выплевывал клубы белого пара, изо всех сил сновал поршнями, но вагончики тащились плюх-плюх. Навек оставался позади уездный город Егорьевск, оставались соломенные деревеньки Лаптево, Комариха, Огрызково, Глуховское, где жили ткачи и прядильщики с егорьевских фабрик.

Железнодорожная ветка шла лесом. Хорошо ехать, глядеть по сторонам, прощаться со знакомыми местами. Вон растрепанные березки на белых ногах качают ветками, провожают. И она им в ответ: «Уезжаю, оставайтесь, живите здесь без меня». Или к самой дороге выступят дремучие ели, нагонят тень, сыростью, неуютом повеет из леса. Вдруг нестрая от ромашек поляна, а на ней стал в кружок кудрявый орешник. «Как я любила осенью ходить по орехи, лазить в чаще, хрупать зелененькие, еще не очень твердые ядрышки!»

Ей вспомнился школьный концерт и ученица на сцене, с сумрачным светом в глазах. Это была нелюдимая, редко открывавшаяся девочка; казалось, какой-то огонь тайно сжигает ее и необычайная, драматическая ожидает судьба. Такие страстные и скрытные натуры, не

дрогнув, идут за убеждения в тюрьму, на казнь.

...Но долг другой
И выше и трудней
Меня зовет...

«Ведь это она о себе говорила, о своей, может быть, доле,— думала Ольга Александровна.— А я обыкновенная, еду в Сибирь, потому что люблю его, вот и все».

Ей представлялась тайга, глухая и темная, куда темнее и глуше дремучего ельника, мимо которого они проезжали железной дорогой из Егорьевска. Она воображала Саяны и неведомое село Ермаковское и как они будут там жить с Михаилом и с крыльца их избы видны будут хмурые отроги Саян.

«Только не требуй от меня, милый, никаких особых поступков и подвигов. Я обыкновенная, люблю тебя, вот и все...»

Хорошо ехать в летний день и видеть из окна вагона то темный глубокий лес, то полосы ржи с синеющими васильковыми глазками и всем своим существом предчувствовать любовь, улыбаться втихомолку, ждать, мечтать.

Из Москвы в Подольск она поехала на другое утро. С весны из Подольска присылали один адрес. Летом адрес стал другой. «Городской парк, дача номер три». Ольга Александровна повторяла: «Городской парк, дача три. Городской парк...»

Она любила узнавать людей, но сейчас душа ее была поглощена ожиданием нового, так необыкновенно и круто изменившего всю ее жизнь, и она не думала об Ульяновых, к которым ехала, а думала о себе и о том, что через три дня — всего через три! — уезжает в Сибирь.

Поезд остановился. Подольск. Со своими мечтами она не заметила, много ли прошло времени. Вокзал кирпичного цвета, длинный и низкий, глядел множеством полукруглых окон через рельсы прямо в лес. По другую сторону вокзала зеленой деревянной улицей начинался Подольск. Три извозчика стояли на привокзальной маленькой площади. Все трое, завидев приехавшую с поездом даму, хлестнули лошаденок и резво подали экипажи к подъезду. Ольга Александровна села на первую попавшуюся пролетку. Пролетка затряслась сначала по булыжнику площади, потом мягко покатила немощеной улицей. Сразу было видно, это другой город, совсем не Егорьевск. Нет фабричных труб, не слышно фабричных гудков, не движутся толпы рабочих к воротам, за которыми безостановочно стучат станки.

Бревенчатые одноэтажные домики с деревянными кружевами наличников аккуратно выстроились вдоль улицы, где Ольга Александровна проезжала в пролетке. Позади домиков огороды, овсяные и ржаные поля, неистовая зелень лугов. Где же центр? Центр дальше. Там по Большой Серпуховской улице днем и ночью идут обозы из Москвы на юг и с юга в Москву. Скачут тройки с купцами. Трубят, расчищая путь, на козлах трубачи. На Большой Серпуховской постоялые дворы с сотнями лошадей, трактиры, чайные, лавки, базары — вот где центр! Центр нам не нужен. Нам нужен Городской парк, дача три.

— Не извольте беспокоиться, доставлю! — бойко ответил извозчик в ватной шапке, несмотря на жару. Повернул своего рысака в боковую, кривую и пыльную улочку под громким названием Дворянская, пересекли крутой овраг с заросшими кустарником склонами, за оврагом на высоком берегу извилистой Пахры лес, тенистый, полный певчих птиц, белок, дятлов, кузнечиков, муравьиных куч и голубых колокольчиков.

— Городской парк, дача три. Прикажете ждать?

Извозчик оказался разбитным и бывалым. Про Ульяновых слышал.

— У нас не скроешься. Велик ли

городишко, вся жизнь на глазах. Опять же к Ульяновым жандармы захаживают. Как посмотришь, жандармы-то больше над хорошими людьми наблюдение ведут.

— А прямая причина? — спросила Ольга Александровна, начиная догадываться, отчего в Подольске живет Мария Александровна Ульянова. Так и есть. Студент Дмитрий Ульянов выслан в Подольск. Вот отчего!

— Мамаша ихняя — сударыня обходительная, нешумливая, а люди говорят, все дети у ней по тюрьмам да ссылкам. Что ты будешь делать, какая судьба материнская, а?

Ольга Александровна не стала поддерживать рассуждений извозчика, расплатилась, назначила час, когда приезжать, чтобы успеть к вечернему московскому поезду, и через садик с посыпанной желтым песочком дорожкой, клумбой и кустами жасмина прошла на террасу дачи номер три. Пусто, никого не слыхать. Дверь в комнату открыта. Она перешагнула порог.

Теперь в доме Ульяновых все любопытно было ей, по-особенному было ей любопытно. Один сын в сибирской ссылке, другой...

В комнате скромно и чисто, ни одной лишней вещи. Обеденный стол под накрахмаленной, слепящей белизны скатертью. Висячая лампа над столом. Стенные часы с важным медленным маятником. Пейзаж, изображающий волны в северном море, где-то у чужих берегов. И пианино. Обычное. У нее в Егорьевске такое пианино. Нет, у нее не такое пианино. На зтом барельеф Моцарта в профиль. С высоким покатым лбом глядящий вдаль Моцарт.

«Как славно!» — подумала Ольга.

И увидела входящую в комнату женщину, пожилую, строго одетую в темное, с кружевной наколкой на белых волосах.

— Мы получили телеграмму и ждем вас. Здравствуйте, Оля!

— Здравствуйте,— ответила Ольга Александровна, глядя на нее, удивительно чем-то прикованная. Что в зтой хрупкой, маленькой женщине так притягивает с первого взгляда? В зтой старой женщине. Разве она старая? Не знаю, нет, может быть. Красивая? Да, наверное, была очень красивой. Не сутулая, прямая, изящная. Тонкое лицо. Все в ней изящно. Но не зто же, не изящество ее поражает! Что же? Вдруг Ольга схватила — вот что! Волосы. Белые, как только выпавший снег. И тихие, с глубоко запрятанной печалью глаза. Что-то значительное и тревожащее было в облике матери.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она.— Анюта скоро выйдет. Анюта готовит посылку Володе. Моя посылка готова, а она собирает книги Владимиру Ильичу. Скоро три, в три часа мы обедаем. И Митя придет из больницы. Дмитрий Ильич. Садитесь.

Они сели к столу, друг против друга. Мать положила на край стола узкие руки и, поглаживая чистую, без морщинки скатерть, говорила:

— Владимир Ильич пишет, вы едете к Сильвину. Мы знаем его. Когда Володю арестовали в Петербурге в декабре тысяча восемьсот девяносто пятого, мы жили в Москве. Сильвин приехал к нам рассказать. Раньше приехала Надя, а за ней он. Не очень легко приезжать с печальной вестью, приятнее с радостной. Он много важного тогда нам сообщил. Мне кажется, он мужественный и добрый человек, берегите его.

У Ольги Александровны защипало в горле. Она кашлянула в платочек. Удивительно белые волосы, как только выпавший снег. И глаза. Улыбаются, тихие, а горькое в них не проходит...

— Сильвина арестовали позднее,— ровным голосом говорила мать.— Тогда же, одновременно с ним, схватили очень многих рабочих. И нашу Надю арестовали тогда. Надежду Константиновну.

— Вы ее любите? — внезапно

спросила Ольга Папперек. «Как нетактично, нелепо! — спохватилась она.— Эх ты, учительница!»

Но мать не удивилась.

— Мы все любим Володину жену. Вы увидите, как они подходят друг к другу. Как бы вам о Наде сказать... небудничная она. Не то чтобы празднична или эффектна, нет, не то. Пожалуй, незаметная даже, не сразу заметная, но в ней ничего нет обыденного и мелкого... вы понимаете?

— Да, да!

— Такую и надо Володе жену. Он ведь сам человек совсем нешаблонный. Они очень сошлись и сдружились. Она и друг ему, и жена, и помощник. Володя очень ценит ее образованность. Действительно, такая умница, знающая. Взгляды у них общие. Я ей так благодарна, что она там, с Володей.

Мария Александровна задумалась, неторопливо разглаживая скатерть по краю стола. Ольга тоже молчала. «Что со мной будет? Что меня ждет?»

— Вы не волнуйтесь, его мать вас полюбит,— сказала Мария Александровна.

— Как вы поняли! — вся вспыхнула и смутилась Ольга Папперек.

— Родная моя, оттого, что вы едете туда и увидите наших Володю и Надю, я уже всем сердцем чувствую вас как родную. Сердце понятливо. Понимаю, что все мысли ваши там, возле него... А я ясно так помню: входит Сильвин с той несчастливой вестью, тискает шапку в руке, не может начать говорить, большой такой, добрый! Он мешковато скроен, а душа у него щедрая...

Мать неторопливо поглаживала скатерть и говорила не о сыне Володе, а о Сильвине, его жизнерадостном и добром характере. Ольге Александровне хотелось вскочить, обнять ее, поцеловать ее узкие руки с длинными пальцами! Отчего у нее такие глаза?

— Скоро три,— сказала мать, поглядев на стенные часы.— К обеду они оба придут. Что-то Аня замешкалась.

Анна Ильинична между тем торопилась вовсю. Посылка, то есть книги и новые журналы для отправки Владимиру Ильичу, была собрана и давно готова, задерживало другое. Анна Ильинична писала в Шушенское письмо, не простое, а секретным способом. Это было кропотливым занятием. Хотя еще во время сидения брата в тюрьме она в совершенстве обучилась писанию писем таким способом, все-таки получалось канительно и долго. Анна Ильинична писала о кредо. О том самом кредо, которое ей передала Калмыкова, когда Анна Ильинична приезжала в Петербург держать корректуру и проверять издание книги «Развитие капитализма в России». В тот приезд в Петербург она познакомилась с молодым печатником Прошкой. Совсем мало видела Прошку, но отчего-то запомнился. Пытливый, нетронутый. Для рабочего, пожалуй, слишком ребячливый. Правда, молодой еще совсем. Что-то в нем располагающее. Зря она оттолкнула его тогда на вокзале. Определенно она ошиблась. Что делать? Теперь не исправишь.

Кредо (она сама и дала листкам Кусковой наименование «кредо») Анна Ильинична перечитала внимательно, когда вернулась домой.

Чем внимательнее вчитывалась Анна Ильинична в отпечатанные на ремингтоне листочки, тем беспокойнее и хуже становилось у нее на душе. Какое ничтожество мысли и трусость взглядов! Какая низость, ведь это измена!

Она помнила Кускову. Когда-то она казалась Анне Ильиничне неглупой и честной. Когда-то... Должно быть, с тех пор растеряно все. А было ли что и терять? Скорее, и не было ни убеждений, ни честности. Были поза, игра.

«Милый Володя,— писала в секретном письме Анна Ильинична,—

сообщи мне, когда получишь кредо Кусковой. Послала его тебе, чтобы ты сам разобрался, так ли оно опасно для дела рабочего класса, как мне представляется. Говорят, оно ходит среди молодежи. Но ведь оно внушает, что не надо бороться! И никто с ним не спорит. Не знаю, надо спорить или, может быть, нет! Послала тебе это кредо потому, что стараюсь, Володя, передать тебе все, что знаю о политической жизни...»

Она дописала. Да, да, важно, чтобы он об этом узнал! Важно, чтобы был в курсе всех крупных и мелких политических новостей!

А как же она написала это письмо? Выбрала самую незаметную по содержанию и заглавию книгу. Какие-то экономические очерки. Разрешено цензурой. Если даже книжка попадет в дороге жандармам, кто обратит внимание на разрешенные цензурой экономические очерки? Когда едешь в Сибирь, к тому же невестой политического ссыльного, всякое может случиться, все может быть. Ни с того ни с сего тебя приглашают в жандармское управление, делают обыск, перетряхивают в чемодане каждую рубашку и кофточку, перелистывают каждую книжку. Экономические очерки? Дозволено цензурой? В сторону. Непосвященный не заметит значок на заглавном листе. Малюсенький знак. Владимир Ильич заметит. Значит, здесь, в этой книге, что-то надо искать. Второй значок скажет, на какой странице искать. Черточки-точки. Крошечные точки и черточки в буквах, и слово за словом Владимир Ильич там, в Шушенском, прочитает письмо.

— Ох, и нудное это занятие! — потягиваясь, сказала Анна Ильинична, окончив наконец черточки-точки, черточки-точки.

Мезонинчик, где она писала письмо, был жаркий от раскалившейся крыши, низкий. Человек даже среднего роста стукнулся бы о потолок, если бы забыл пригнуть голову.

Дмитрий Ильич был выше среднего роста и, входя в кабинет, как назывался у них мезонинчик с письменным столом, стулом и узкой кушеткой, здорово должен был нагибаться и потому старался сразу присесть на кушетку.

Больше всех похожий на мать, Дмитрий Ильич был красив. В свои двадцать пять лет он казался юношей задумчивым и мечтательным, мало приспособленным к практической жизни. Когда его арестовали за участие в московском «Союзе борьбы», мать не сразу поверила. «Ведь он еще мальчик!»

Саша еще был моложе. Но Саша рано уехал из дому, жил в Петербурге самостоятельной жизнью, а Митя все дома, все с мамой. Деликатный, домашний. И вдруг!.. Таганская тюрьма. «Государственный преступник» — написано было на двери камеры Дмитрия Ульянова.

Снова пришла нужда носить передачи в тюрьму. Носила мать передачи Александру, Анюте, Володе. Теперь младшему, Мите... После тюрьмы выслали в Подольск под гласный надзор. И мать переселилась в Подольск. Невеселой была зима 1898 года. Володя и Надя в Сибири. Марк, Анютин муж, опора семьи, любимый Марией Александровной как сын, на службе в Москве, занят по горло. Она с Митей в Подольске.

Постоялые дворы, трактиры, купеческие тройки, круглые сутки скачущие по Большой Серпуховской. Огороды, базары — как все чуждо в Подольске. Не привыкнуть. Они с Митей одни. И Анюта. Если матери трудно, всегда рядом Анюта...

— Готово. Можешь упаковывать, Митя, и тащить вниз, — сказала Анна Ильинична, с довольным видом показывая основательную охапку книг на полу.

— Письмо посылаешь? — полюбопытствовал брат. Он спрашивал, потому что знал: с оказией письмо посылается особенное.

— А найди,— засмеялась Анна Ильинична.

— Найду.

Дмитрий Ильич взялся рыться в книгах.

— Не стоит. Проищешь, пожалуй,— остановила сестра, давая ему экономические очерки.

Некоторое время он вглядывался в строчки.

— Для посторонних незаметно мое письмо? — спросила Анна Ильинична.

— Что ты! Идеальная конспирация.

Он опустился на колени упаковывать и завязывать книги шпагатом. Анна Ильинична присела возле на корточки.

— Мамочка с утра волновалась. И ночь, мне кажется, плохо спала,— сказала Анна Ильинична.

— О Володе скучает.

— Готовит им печенье, изюм, всякие сладости, а у самой такая горечь в лице. Мы привыкли, что мама сильная, а как трудно достается ей ее сила! Если бы можно было взять на себя хоть половину...

— Анюта! — строго остановил младший брат, услыша ее сдавленный голос.

— Ничего. Не беспокойся.

Анна Ильинична поднялась и ушла на балкончик, узкий и маленький, даже стул не поставить. Можно только войти, протянуть руку и тронуть ветку клена, который растет рядом с домом. Анна Ильинична протянула руку и, не отрывая, обмахнула кленовой веткой лицо. Жалко маму. Всю жизнь то передачи в тюрьму, то посылки...

Скоро они спускались с Митей по крутой лестнице вниз, неся посылку, и с боем часов, ровно в три, явились в столовую. Стол был накрыт. Мария Александровна, стоя возле своего места, ожидала детей к обеду.

— Дочь, Анна Ильинична. Сын, Дмитрий Ильич, — представила мать.

Села, приглашая всех сесть.

«В этом доме чистота, точность, порядок»,— мелькнуло у Ольги.

«Здесь душевные люди, интересные, умные!» — думала она позже.

За обедом шел разговор о Сибири, о далекой дороге, предстоящей Ольге Папперек. Ульяновых не удивлял отъезд Ольги к жениху в Сибирь. Как же иначе? В порядке вещей. Брат и сестра наперебой говорили о Владимире Ильиче, которого Ольга Александровна узнает в Сибири.

— Помнишь, Анюта?..

— Помнишь, Митя, когда тебя засадили в тюрьму, Володя в каждом письме из Шушенского диктовал, как надо тебе там жить.

— Как же, как же! Надо работать! Чем-то регулярно заниматься, не просто так читать, а по системе читать. Просто так читать — мало проку.

— Верно! Мамочка, а помнишь: соблюдает ли Митя диету в тюрьме? Занимается ли Митя гимнастикой? Помнишь, Митя, целую инструкцию Володя прислал, как делать гимнастику, бить земные поклоны, по пятидесяти поклонов, не меньше, да чтобы ног не сгибая, да чтоб рукой пол доставать... Володя замечательно выработал в себе дисциплину ума, тела, быта, работы! Мамочка, это у него от тебя.

Мать молчала. Сидела после обеда в качалке, протянув на колени руки, сомкнув губы, и молчала.

На прощание обняла Ольгу.

— Поезжайте, родная. Обнимите их там за меня.

Дмитрий Ильич отправился с Ольгой Александровной к поезду усадить гостью в вагон. После вокзала снова на службу, вести счетоводство у земского санитарного врача Вячеслава Александровича Левицкого.

Отъезжая, Ольга Александровна оглянулась, увидела мать. Она стояла в калитке, освещенная заходящим солнцем, грустной улыбкой провожала ее.

10

Было первое августа. Скоро задует северный ветер, закружат над Саянами бури, ударят заморозки, дохнет холодом осень. Сейчас еще лето, последние летние дни. В лесу на некошеных полях еще можно изредка встретить заблудившиеся с лета золотые жарки или похожие на кошелечки сиреневые и розовые кукушкины сапожки. А марьин корень не встретишь. Почти в половину человеческого роста, бордовый, с желтой, как солнце, сердцевиной роскошный сибирский цветок. Марьин корень зацветает во время половодья, когда идет коренная вода. Первое половодье на Енисее бывает весной. Летом, когда в горах тает снег, бурно, с бешеной скоростью помчится вниз снеговая — коренная вода, сильнее, чем весной, разольются от воды Енисей и притоки. В это второе половодье и зацветет марьин корень. Цветет пышно, долго. Но в августе уже не встретишь марьин корень.

...Признаки близкой осени все же улавливаются. Не тот лес. Поредел. Шумят под ногами упавшие раньше срока листья. Молнией перелетают с ветки на ветку бельчата-детеныши, руля рыжим хвостом. Студенее утренние туманы над Шушей. Реже цветы. В зеленой путанице березовых листьев вдруг увидишь желтую прядь...

На огороде Проминских с весны почти до самого снега работа. Огородом Проминские кормятся. Капуста своя, огурцы свои, картошка своя, лук свой. За лето насолят, насушат грибов. Отец с Леопольдом настреляют дичи. Ведь восемь человек садятся за стол. До ссылки Проминский не имел огородного опыта. Заядлый горожанин, свое мастерство знал отлично, а землю не знал. Огородное дело Иван Лукич стал осваивать в Шушенском, изучая пособие, которое выписал Владимир Ильич из книжного склада Калмыковой, близкой по Петербургу приятельницы. В пособии все расписано, когда какую справлять огородную работу. Сегодня полив репчатого лука и рыхление почвы. Леопольд с утра перетаскал на гряды ведер сорок воды, губы соленые стали от пота! Теперь вдвоем с отцом рыхлили почву. Леопольд в шляпе из лопухов, искусно прошитой ивовыми прутиками,— передался, должно быть, отцовский талант!

Отец был сегодня особенно как-то угрюм. И вчера. И давно уже замечает Леопольд, что-то с ним неладное творится. Заболел? Только не это! Чем старше Леопольд, больше читает книг, которые надо нести от Владимира Ильича под рубахой, прячась от приезжего унтера, тем дороже и ближе Леопольду отец. Мама, устав от стирки, стряпни и всяких бессменных работ по огороду и дому, корила отца:

— Жили бы в Лодзи! Несладко, а дома. Забастовки твои до чего довели! Вся семья в ссылке.

— По своей охоте семью в Сибирь привезла. Уж очень ты у меня ревнивая, женка!

— Что? Что? Иисусе Христе, матка боска! Что этот человек говорит! Как язык на такие слова поворачивается! А лучший мастер был в Лодзи по шляпам.

В общем-то, мать, хоть и ворчала, гордилась отцом. Не только тем, что мастер по шляпам.

Вот был случай в тюрьме. Революционеров-поляков перегоняли из Варшавы на поселение в разные северные местности. В Москве в пересыльной Бутырской тюрьме отец попал в одну камеру с молодыми марксистами из петербургского «Союза борьбы». Тоже гнали в Сибирь. Один, по происхождению полуполяк, умный, красивый, Глеб Кржижановский, был весельчаком, вся камера покатывалась со смеху, когда он заводил свои шутки. Но когда Ян Проминский начинал петь польские песни, Кржижановский смолкал. Сядет

на койку, обхватит колено руками и слушает, покачиваясь из стороны в сторону. Однажды схватил карандаш.

— Пойте, Ян, пойте!

Отец Леопольда пел, уносясь сердцем в ненаглядную горькую Польшу, а Глеб Кржижановский писал, ерошил черные кудри, морщил улыбкой губы, нахмуривал лоб и писал. Переводил на русский язык польские революционные песни.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Не шутки: отец в тюрьме на своем языке пел эти песни, а теперь русские революционеры на воле по-русски поют:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

И мать хоть и жаловалась перед иконой Иисусу Христу на трудную жизнь, а любила отца. Каков есть, таким и любила. «На бой кровавый, святой и правый...»

Отец воткнул тяпку в землю, разогнулся.

— Леопольд, куда думой залетел, хоть из пушки пали?

Леопольд тоже воткнул тяпку в землю и стал.

— Гляди, татусь, сколько луку обрыхлили! Теперь еще толще нальются луковки.

— Так-то так...

У отца коричневое от солнца и ветра лицо. Узкое, бритое, с длинными усами. Морщины на бритых щеках видны глубже и резче.

— Так-то так...— Помолчал и еще: — Так-то так.

— Татусь, о чем ты все думаешь?

— Осенью кончится ссылка, сынок. Можно бы домой подыматься. Луку в плетушки навязали бы, пригодился бы дома.

Они редко говорили об этом. Боялись верить, что осенью кончается ссылка. Что скоро домой.

— Татусь, о чем ты словно горюешь? Ведь недолго осталось.

— Э-э! — сказал отец.

Поплевал на ладони и принялся рыхлить землю. Темный, лопатки торчат. Отчего он придавленный, будто гиря на нем?

А из проулка звонко неслось:

— Дядя Ян! Тетенька Текла! Леопольд, Леопольд!

По проулку бежала Паша. В голубом сарафане, в платке с голубыми каемками, бежала, едва касаясь ногами земли, придерживая на груди перекинутую через плечо косу пшеничного цвета.

— Дядя Ян! Леопольд! Угадайте, кто к нам в гости приехал?

На ней сарафан до травы. Девичья фигурка робко рисуется под голубым сарафаном. Леопольд видит Пашу каждый день, синеглазую, загорелую, с пшеничной косой. И сердце ухает, как во сне, когда летишь высоко-высоко...

— Незабудочка паненка Паша,— улыбнулся отец.

Отец редко бывает ласков, татусь, хороший мой человек!

— Незабудочка! — Паша фыркнула в рукав. — Уж и скажете, дядя Ян. А я рук от картошки никак не отмою. Ну, про гостей угадали? Не угадать нипочем. Владимир Ильич посылку схватил да как бегом к себе в кабинет! Затворился. Что уж в письмах там ему написали? Выходит из кабинета довольный, ладони потирает, на что-то вроде сердит, а вроде и рад. Надежде Константиновне подмаргивает, что, мол, новости важные привезли из России. К Владимиру Ильичу товарищ приехал, к Надежде Константиновне подруга. Ничего себе, аккуратненькая. А наша видней. Наша, как глянет, всю тебя насквозь и увидела. Улыбка у нашей больно приятная. А еще гостинцев нам привезли. Посылку из Подольска, от бабушки. Слыхали, в Подольске у нас еще бабушка есть,

его мать, заботливая, обо всех позаботилась, никого не забыла и ваших ребятишек, дяденька Ян, не забыла. Меня за вами прислали. В гости зовут. А еще, дядя Ян, Владимир Ильич велел сказать, что по делу.

— По делу? Какому же? Общее или... Сейчас, сей момент!

Отец воткнул в борозду тяпку и крупным шагом заторопился в избу вымыть под рукомойником руки.

— Беспокойный какой-то он,— заметила Паша.

Беспокойный. Наверное, все об осени думает. Паша не знает, что осенью кончится ссылка. У Леопольда впервые мелькнуло: «Паша! Ведь, может быть, скоро...»

Эта мысль оглушила его.

— Ты так, как есть, пойдем, Леопольд. И так хорошо. В Шуше от огорода отмоешься,— болтала Паша. — Ай нет. Лучше дома умойся да ту рубаху надень, для гостей.

«Та» рубаха полотняная, воротник у «той» рубахи вышит красным и черным крестом — Пашина вышивка в зимние вечера, когда нечего делать. Леопольд в «той» рубахе светлый, праздничный, брови разгладились, не упрямые. И вид негордый.

Паша болтала:

— Я и домой уж сбегала, от Марии Александровны из Подольска своим конфеты к чаю снесла. Еще к дяде Оскару зайдем, кликнуть велели. Не ушел бы на охоту, незадача-то будет! Что ему не уйти, того и гляди что уйдет. Холостой. Холостому-то много ли надо? Картошку на зиму запас и гуляй.

От ее болтовни Леопольд делался беззаботным и легким. Все на свете понятно и просто. Знаете что! Пока он, конечно, ничего ей не скажет, но... Татусь добрый человек. Татусь, ты добрый? И матка. И если мы отсюда уедем... татусь, все равно у нас большая семья...

Тут он увидел вдали человека. Человек был в клетчатом пиджаке и шел по улице шаткой походкой, видимо, не очень был трезв.

«Учитель!» — узнал Леопольд. На душе у него потемнело. Учитель не любил Леопольда. Леопольд презирал его и боялся. Боялся, не сдержится, наделает вреда. И всячески старался избегать этого невзрачного и щеголеватого мужчину, у которого толстый нос разрисован лиловыми жилками.

Свернуть бы с дороги, да некуда. Загребая сапогами пыль, учитель в клетчатом пиджаке шел серединой улицы прямо на них.

— Чего не здороваешься?

— Здравствуйте.

Леопольд не сдержался. Вложил в свое «здравствуйте» насмешку, надменность, все свое презрение к учителю.

— Поздоровался! А волчонок волчонком. Православные крестьяне в поте лица... а эти, как вас, социалисты, вы кто? Богопротивники вы! Ваша проповедь, чтоб все по команде, под одну крышу всех согнать, чтобы равенство то есть. А человек создан разно, неравно...

— Ничего вы не знаете про социализм. Слушать стыдно!

— Ты того стыдись, что социалисты душу народную губят. А всё полячишки мутят. Эй, ты, полячишка, потише, Лишку вас здесь у нас развелось.

У Паши все внутри застонало от помертвелого лица Леопольда. Ой, он без рассудка сейчас. Беды бы не сделалось!

— Пойдем, пойдем! — заторопила Паша.

Она схватила его руку и тащила, лепеча что-то без толку, лишь бы не дать говорить учителю. Учителя от водки качнуло.

— Леопольдушка, видишь, он пьяный!

Паша почувствовала, какой тяжелой стала у Леопольда рука, шершавая от огородной работы.

— Леопольд, не убивайся. Позабудь про него!

Он выдернул руку. Отвернулся.

«Справлюсь сам. Справлюсь. Сейчас. Погодите». Он научился в одиночку сносить оскорбления. «Эй, ты, полячишка!» Нет, нет, нет! Никогда не забуду! Но он научился терпеть и скрывать. Жалел отца. Щадил самолюбие отца. Отец не знал, как над ним издевается учитель. Или приезжий унтер. Им смешно, что у него прыгают губы. Он не может с собой совладать, у него прыгают губы...

— Паша, ты знаешь, кто был муж у Елизаветы Васильевны?

— Ой, да к чему ты о нем?

Она испугалась. С ума своротил? К чему он о нем? К тому, Паша, что Леопольду надо вспомнить — и скорее, скорее! — поручика Константина Игнатьевича Крупского.

Представить, что поручик Крупский живой. Представить, что поручик Крупский приезжает в Польшу служить. Его не насильно туда послали. Он сам, когда окончил Военно-юридическую академию, захотел, чтобы его послали туда. Тогда русскому офицеру нетрудно было выслужиться в Польше: не так давно расстреляли польское восстание против императора, самодержца, царя польского, великого князя Финляндского и прочая и прочая... Ого, как взнуздали после восстания Польшу! Некоторые думали, поручик Константин Игнатьевич Крупский приехал в Польшу делать карьеру, дослужиться до генеральского чина.

...Из семьи Ульяновых Леопольд долго влюблен был в одного Владимира Ильича. Вся хорошая семья, но влюблен он был в одного. Он вспыхивал, когда Владимир Ильич обращался к нему с самым обычным вопросом. Мечтал быть умным, блестящим, чтобы Владимир Ильич удивился: вот каков Леопольд Проминский! Показать безумную храбрость, чтобы Владимир Ильич знал, что Леопольд Проминский надежен. Он мечтал когда-нибудь каким-нибудь образом спасти Владимира Ильича от опасности. Могли прискакать из уезда жандармы. Был в мае обыск? Еще может быть. С полки пошвыряны книги. Валяются на полу раскрытые книги.

Никто не слышит, шуршит тальник над Шушей. Владимир Ильич сует Леопольду секретные рукописи. Надо закопать. Леопольд крадется. Что так страшно стучит в висках, будто маятник взбесился и колотит, колотит?.. Это кровь бьет в висках. А это что? Бегут. Топот сапог. Кто-то ломится сквозь тальник. Шашка жикнула над головой. Она жикает, когда ее заносят. «Не надо! Не рубите меня. Я не хочу умирать!» — «Тогда признавайся!» — «Ни за что!»

...Раньше Леопольд посвящал свои фантазии Владимиру Ильичу. Теперь делил между ним и Елизаветой Васильевной. Совсем недавно он опасался ее насмешливого языка, готовый на каждую насмешку обидеться. Совсем недавно. Теперь... Его мальчишеская преданность началась с того, что однажды она рассказала ему о себе молодой. И о поручике Крупском.

У них была крохотная дочка Надя, когда он приехал служить начальником в один польский уезд. Что касается Нади, девчонка не много соображала тогда. А жена, Елизавета Васильевна, положила руки на плечи мужу и, спокойно глядя в лицо, сказала:

— Знай, что я всегда вместе с тобой.

Он снял с плеча ее руку, поцеловал и поклонился церемонным поклоном.

— Скажите пожалуйста, — засмеялась она, — я не знала, что вышла замуж за рыцаря из романов Сенкевича.

— У твоего рыцаря немного другие взгляды,— ответил он.

В городе, куда его прислали служить, подлые дела устраивали царские правители. Время от времени рано утром на городской площади

раздавался барабанный бой, резкий, жесткий, поспешный. Люди бежали на площадь. Мужчины, женщины, дети, лавочники, служители костела — все бежали, несмотря на раннее утро. На площадь приводили старых евреев. Они упирались. Их тащили, вязали за спины руки. Барабаны били... Под барабанный бой у евреев остригали пейсы.

Однажды в разгар процедуры на площадь прискакал начальник уезда поручик Крупский. Выхватив на скаку револьвер, выпалил в воздух.

— Барабаны, молчать! Кру-гом марш! Долой с площади! И чтоб никогда!..

Может быть, это происходило не так. Может быть, он не стрелял. Леопольду хотелось, чтобы стрелял. Леопольду нравилось, что в гневе он был бешен и крут и прискакал на коне. Конь кружил под ним, вставал на дыбы, мел булыжник площади длинным хвостом.

Не много попадалось таких справедливых начальников в царской Польше. Он без пощады выгонял взяточников из контор и присутственных мест. Не терпел, когда царские чиновники унижали поляков. Однажды чиновники распорядились не огораживать польские кладбища. Свиньи стадами бродили по ним и разрывали могилы.

Старики слали проклятия на головы обидчиков, женщины плакали. Начальство — никакого внимания. Тут-то поручик Крупский и вмешался: прекратить безобразие, огородить кладбища!

Поляки заговорили: какой-то особенный этот русский начальник, не как другие, справедливый! Нас, поляков, за людей считает, не дает в обиду.

Но правительство судило иначе...

Много грехов против русского правительства накопилось у поручика Крупского.

Чиновники говорили: «Не обязательно знать польский язык. Пусть они знают русский».— «Если ты приехал в Польшу служить, обязательно!» — отвечал Крупский.

Константин Игнатьевич знал польский язык превосходно. Велел учить польскому дочь. А как танцевал мазурку! Лучше поляков.

В этом месте рассказа Владимир Ильич вставил:

— Лишку хватили, Елизавета Васильевна, ей-ей! Не хуже поляков, и то хорошо.

Елизавета Васильевна и не подумала уступить:

— Мне ли не знать, как он мазурку танцевал! Дама-то кто была у него?

Тут, конечно, Владимиру Ильичу пришлось сдаться. Против такого аргумента не поспоришь.

Недолго позволили Крупскому служить в Польше. Обвинили: ведет вредную для русского правительства линию. Крупского отдали под суд. Несколько лет разбирались в суде его преступления. Незадолго до смерти только был оправдан сенатом...

Между тем Паша, забегавшая по дороге за Энгбергом, которого Владимир Ильич велел кликнуть, уже тараторила снова:

— Леопольд, Леопольд, дядя Оскар бреется, галстук налаживает, ждать не велел, сам, однако, придет. Ладно, что дома! Утро охотился, полную сумку уток набил, хвалится, хвалится, а мне не в диковинку, я и лебедей видывала. А кто к нам приехал, Леопольд, и не спросишь, больно уж гордый, слова не вымолвишь лишнего. Сильвин к нам приехал, вот кто!

— Сильвин? Что же ты молчишь!

И они задами помчались к улочке, где над Шушей был дом с двумя колоннами. На крылечке Женька встретила их радостным лаем. Еще Минька дожидался их на крыльце, соседского поселенца мальчонка лет шести, бескровный и хиленький, как увядающий цветок, которому недолго

оставалось качаться от ветра на тоненьком стебле, недолго. Облизывал вяземский пряник, жалея куснуть.

— Опоздали! Все гостинцы раздарены. Мне пряник дали да карандаши разноцветные, а вам шиш.

— Врешь, однако, — хладнокровно ответила Паша.

Они ввалились в кухню. Из кухни в столовую комнату. И там Леопольд очутился в крепких объятиях Сильвина.

— Здравствуй, здравствуй, дружок! Ба! Да ты вырос, на пол-аршина прибавился. А мускулы где? А с Энгельсом справился? Владимир Ильич в тот раз снабдил тебя Энгельсом, осилил? А мускулов мало. Мало.

И одновременно хорошенькой своей, любопытной ко всему и смущенной жене:

— Заметь, Ольгуша, этот юноша в нашу первую встречу при всем честном народе объявил, что ты ко мне приезжаешь. Интуиция ему подсказала, а мне что оставалось? Срочно слать тебе объяснение.

— Я и не подозревала, однако, что вы сыграли такую важную роль в моей судьбе,— улыбнулась она.

— Слушайте! Слушайте! — завопил Сильвин.— Она уже «однако» усвоила. Она уже сибирячкой успела заделаться!

— Пока сибирской зимы не понюхала, до тех пор не признаем сибирячкой,— заявил Владимир Ильич.— Вот и Иван Лукич!

Вошел отец, Леопольд удивился: никого не заметив, отец шагнул к Владимиру Ильичу.

— Владимир Ильич, не ответ ли прислали?

Боязнь и надежда были во взгляде отца. Владимир Ильич смешался.

— Дьявольская медленность почты! Или начальство медлит. Так или иначе, вопрос этот вырешится, потерпите, елико возможно, Иван Лукич, а? Они ответят на письмо так или иначе. Непременно ответят!

Отец виновато улыбнулся и весь сразу потух. Увидел Сильвиных. Поклонился. Погладил ладонью макушку.

— Важное дело, Владимир Ильич?

— Чрезвычайно важное дело! До крайности важное. А что касается того, подождем еще немного, Иван Лукич...

Они ушли к нему в комнату: отец, Сильвин и Надежда Константиновна.

— А мы, непартийная публика, идемте на лоно природы,— позвала Елизавета Васильевна, уводя гостью в огород показывать гряды.

Леопольд стоял у окна, глядел на зеленый лужок. Сюда, в проулок, мало заезжало телег и возов, невытоптанный лужок зеленел. Что за письмо? О чем? Куда они его посылали? Чего отец ждет? Ждет и боится. Почему дома молчит о письме? Даже с ним, старшим сыном, не делится. Хмурый, что у него на душе?

11

Наверное, Леопольд долго простоял бы так у окна, раздумывая о неизвестном письме, если бы не Оскар Энгберг.

Энгберг явился слегка смущенный опозданием, но тщательно выбритый, в наглаженной чистой рубашке и галстуке. Все у него аккуратно. И одежда и внешность аккуратная. Светло-русые волосы с левым пробором, будто линеечкой вымеренным. Ровные усики. Выбритый крутой подбородок.

И тут же из комнаты появился Владимир Ильич.

— Куда вы пропали, Оскар? Мы все ждем-дожидаемся.

— Ну и охота сегодня, Владимир Ильич! Перово озеро все живое от птицы...— принялся расписывать Энгберг, но, заметив сдержанность Владимира Ильича, догадался, что сейчас не до уток, смолк и отчего-то на цыпочках прошел в кабинет.

— Леопольд,— внимательно на него поглядев, сказал Владимир Ильич,— и тебе сугубо полезно это уз-

нать. Давайте не волынить, товарищи!

Леопольд самому себе не решался признаться, что, стоя у окошка и рассматривая знакомую-презнакомую лужайку, думал не только о письме. Гнал прочь обиду, а она комом застряла в горле. Перед носом захлопнули дверь! Разве он, Леопольд, так уж совсем «непартийная публика»? А кто, скажите, недавно весь «Коммунистический Манифест» прочитал? Насквозь, от корки до корки! Выучил почти наизусть. Кто раньше «Манифест» прочитал, я или Энгберг? Ладно, он был рабочим, путиловцем, так я еще не успел стать рабочим, еще буду. Разве только он, Энгберг, хочет быть революционером? Я тоже хочу... Не мальчишка я!

Леопольд вспыхнул как спичка от слов Владимира Ильича: «...тебе сугубо полезно». Вмиг в нем ожил мальчишка. Он вошел не на цыпочках, как Оскар Энгберг, желавший показать, что раскаивается, что ухлопал целое утро на уток; нет, Леопольд вошел не так; он вскочил в комнату, будто спасаясь от погони, и шмыг и спрятался за книжную полку, в глубине души труся, как бы Владимир Ильич не опомнился: «Стой, стой, любезный, рано тебе!»

Надежда Константиновна улыбнулась его суматошности.

— Правильно Леопольда позвали. В Петербурге в рабочих кружках у нас еще моложе товарищи были.

— Когда я на Путиловском работал...— начал Энгберг.

Он постоянно по всякому поводу любил похвастать, как работал в Петербурге на Путиловском заводе и Владимир Ильич под именем Николая Петровича приходил за Нарвскую заставу объяснять им политику и как его уважали рабочие. А теперь судьба свела в Шушенском. Энгберга позже Владимира Ильича привезли в ссылку. Потом уже через год они и Надежду Константиновну в Шушенском дождались, и Оскар Энгберг выковал им из медных пятаков по кольцу для венчания. Об этом Энгберг мог рассказывать сколько хотите, но сегодня с рассказами ему не везло.

— Товарищи, к делу! — прервал Владимир Ильич, приближаясь к деревянной конторке, за которой обычно стоя писал.

Нигде не видывал Леопольд такой конторки с покатой, как у парты, крышкой, обнесенной по спинке перильцами. К перильцам поставлена лампа. Эту лампу с зеленым абажуром Надежда Константиновна привезла из Москвы Владимиру Ильичу в подарок, когда приехала в ссылку. В вагоне везла, пароходом везла, пятьдесят с лишним верст тряслась на телеге от Минусинска до Шушенского, держа в руках лампу. Уберегла, не разбила. Зимними вечерами рано гаснут в Шушенском окна, только светит до поздней ночи зеленый огонек у Ульяновых.

В комнате Владимира Ильича Леопольда особенно привлекала книжная полка. Правда, свободного доступа к ней ему нет, но попросишь что надо — пожалуйста. Иногда Владимир Ильич сам выберет книгу и даст: «Сугубо важно прочесть. Советую».

Из бокового окна видно Шушу. Сделав излучину, она протекает возле самого дома. За Шушей — луга, давно убранные и снова зеленые и яркие от осенней отавы. За лугами Енисей и синие ленты проток. Вдалеке величавые громады Саян. Наползет фиолетово-сизая туча, накроет крышей хребет, раскинет рваные лохмотья по склонам, нагонит сумрак; вдруг примчится ветер, заклубит, поднимет тучу, понесет, свалит по ту сторону гор, и белый-белый снег сверкнет на вершине, брызнет светом,— и все вокруг станет радостно, чисто, и солнце веселее засветит.

«Когда уедем домой, буду помнить всегда эту комнату, конторку, книги, буду помнить окно Владими-

ра Ильича, боковое окно, из которого видны Саяны. И Шушу, и остров... Но что это я, вот так дурак, пропустил, о чем говорит Владимир Ильич!»

Он ничего не пропустил. Владимир Ильич только успел вынуть из конторки книгу и, листая в ней страницы, сказал:

— Товарищи, очень хо́рошо, что мы собрались. Я воспользовался приездом Михаила Александровича и позвал вас обсудить одно дело. Весьма важное дело! В этом послании содержатся чрезвычайно интересные для нас вещи и сведения.

«В послании? Где же оно?» — удивился Леопольд, но, конечно, не стал спрашивать, а внимательно сдвинул брови и усердно стал слушать.

— Я не успел точно набросать на бумагу содержание присланного, изложу основные мысли,— говорил Владимир Ильич, приводя все больше Леопольда в волнение.

Ясно, здесь была конспирация. Леопольд был захвачен. Он не старался сейчас казаться Владимиру Ильичу умным и вдумчивым, совершенно об этом забыл, так странно было то, что он узнавал, о чем говорил Владимир Ильич.

То, что Леопольд узнавал, было кредо, привезенное Анной Ильиничной из Петербурга в Подольск, а потом присланное в химическом письме из Подольска в Шушенское.

— Подведем итоги. Они против рабочей политической партии. Они против борьбы за политическую свободу рабочего класса. Они не верят в революцию. Не верят, что пролетариат способен взять власть в свои руки. Не верят в социалистическое общество. Итак?

Владимир Ильич захлопнул книжку, которую держал раскрытой, пока излагал содержание кредо. Положил на конторку. Поднял плечи. Всунул руки в карманы. Остро и холодно блеснули глаза. Леопольд никогда не видел Владимира Ильича таким. Ледяным, сдержанным, гневным.

Все сильнее забирало Леопольда волнение, но он не мог сообразить, что делать, как «им» отвечать. «Они» на свободе, а мы в ссылке. Леопольд в беспокойстве ожидал, что скажут другие. Как решат? Кто заговорит первым? Заговорил бы отец! Нет, отец молчаливый и, наверное, тоже не знает, как об этом судить.

Но отец-то и знал. Сказал кратко. Он всегда говорил понятно и кратко.

— На нет хотят рабочее движение свести,— сказал отец.

— Вот именно! — воскликнул Владимир Ильич. Казалось, он ждал услышать эти слова, но не был уверен и теперь, услышав, ободрился: — Вот именно! Чего им надо? Им надо отнять у рабочего движения революционную цель.

— Черта лысого! — сказал Оскар Энгберг.— Извиняюсь, конечно.

Энгберг был по рождению финн и не так уж досконально усвоил русский язык, что же касается крепких словечек, Энгберг знал их и по-фински и по-русски достаточно.

«Извиняюсь, конечно!» — слышалось довольно часто, пока Энгберг рассказывал, как полиция разгоняла на Путиловском тайные сходки; мастера рыскали по цехам, вынюхивали, нет ли где разговоров про политику; одного такого сыщика-доброхота путиловцы сунули в холодный ушат остудиться, за то и полетел Оскар Энгберг в Сибирь.

— А все равно, черта лысого, никто не выколотит из нас революционную цель!

— А они как раз и выколачивают,— говорил Владимир Ильич.— И начисто. Чтобы ничего не осталось, ни капли революционной идеи. Идите на поклон к буржуазии. Господа капиталисты, смилуйтесь, подсобите елико возможно рабочему классу! Вот они чего добиваются: чтобы рабочие забыли о политике и революционной борьбе. Нет, мы не согласны! Мы не хотим, не можем, не бу-

дем молчать, нет и нет! Не будем, хотя мы и в ссылке.

Владимир Ильич сердито говорил, прохаживаясь по комнате взад и вперед.

«Сейчас придумает, что надо делать,— мелькнуло у Леопольда.— Зашагал, значит, скоро придумает».

Никто не велел Леопольду молчать, о чем был разговор в комнате Владимира Ильича. Он узнал тайну. Тайну надо хранить, понятно без слов. Ужасно хотелось хоть чуть намекнуть Паше о кредо, в котором «они» (Леопольд так до конца и не понял, какие эти «они») призывают рабочих не бороться, а ладить с капиталистами. Но нельзя ничего открывать, даже намекнуть нельзя.

Потом был обед, и Паша с Елизаветой Васильевной кормили всю честную компанию молочной лапшой, свежим картофелем и малосольными огурцами, такими крепенькими, вкусными, только хруст стоял за столом. Блюдо вмиг опустело, и Елизавета Васильевна сказала:

— Голубчики мои, можно подумать, вы с молотьбы. Паша, не сходить ли за добавлением в погреб?

— Да здравствует гостеприимство Елизаветы Васильевны, известное нам с петербургских времен! — громогласно объявил Сильвин.

— Да уж и там, бывало, договоритесь до голоду.

А Владимир Ильич с задорной искрой в глазах:

— Уважаемые гости, предлагаю после обеда совершить прогулку на луг.

— Вам гулять, а мне с посудой управляться,— сказала Паша, таща со стола ворох тарелок на кухню.

— Ну уж нет! Ну уж нет! — в один голос постановили Надежда Константиновна с Ольгой Александровной. Надели фартуки, Леопольд подвязался тряпкой, Оскар Энгберг засучил рукава выглаженной парадной рубашки — в полчаса убрали, посуда чистехонькая стояла на полке.

— Миром-то хорошо,— сказала Паша.

И все со спокойной совестью отправились по мостику через Шушу на луг.

Елизавета Васильевна одна осталась дома с рассказами Чехова, которые читала со вкусом, не торопясь, а растягивая удовольствие.

— Бабушка, я с тобой нынче не буду, я с ними на луг пойду,— сказал Минька, зажав в кулаке обмусоленный вяземский пряник.

— Ступай, детка.

— Завтра опять к вам приду.

— Приходи.

«Голубенькая моя травинка»,— грустно подумала Елизавета Васильевна, глядя на его прозрачное личико и рахитичный живот.

Луг зеленый, просторный.

— Сюда, сю-да, сю-у-у-да-а! — кричал Владимир Ильич, раньше всех очутившийся в глубине луга у огромных зародов, узких и длинных кладей свежего сена, выложенных поверху ветками вроде крыши от ветра. Запах здесь, у зародов, стоит сенной, крепкий, кружащий голову, глазам небесная открывается ширь, а Саяны кажутся близкими, сияют снегами.

— Сю-у-да! — звал Владимир Ильич.

Если Владимир Ильич веселился, так уж веселился вовсю, всех заражал своим смехом и радостью. Чинных праздников Ульяновы не признавали. Праздник, значит, прогулки верст за десять в леса или на луга, где можно нарвать охапки цветов, или игра в городки, когда чешутся руки одним ударом выбить из города фигуры, или катание на лодке, или пение песен и полная, полная радость, чтоб никто в стороне не остался, чтобы всех захватило, закружило, несло.

Паша и Леопольд примчались первыми на зов. Крупными скачками подбежал длинноногий Оскар

Энгберг и встал, любопытно оглядываясь и приглаживая вздыбленные волосы. Последним притрусил Минька.

Владимир Ильич, без пиджака (пиджак брошен в траву), с отлетевшим на плечо галстуком, поднял сухую ветку:

— Будем петь. Ян, дирижирую. Товарищ Ян, будем петь!

Иван Лукич откашлялся. Оттянул на шее воротник и запел. Невеселую песню запел.

Слезами залит мир безбрежный,—

выводил глуховатый, низкий голос Проминского-отца.

Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд.

Паша вытянулась, зажала на груди косу в руке, жадно ловила слова, шевеля губами. Наверное, сердце колотится у нее под рукой. Леопольд чувствовал, что заплачет от этой песни на лугу, где они одни возле темных молчаливых зародов да Саяны, громадные, вечные, в снеговых ярких шапках.

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет...

Леопольд гордился и любил отца, который все пел, пел и вел за собой хор и эти огненные грозовые слова:

Скорей, друзья! Идем все вместе,
Рука с рукой, и мысль одна!..

«Буду революционером,— думал Леопольд.— С сегодняшнего дня, навсегда! Владимир Ильич, татусь, обещаю!»

Песня спелась. Стало тихо. Маленькая Ольга Александровна Сильвина, держа мужа за рукав, глядя на него снизу вверх, возбужденно говорила:

— Спасибо, что я приехала к вам сюда! Какие вы... Не думала я, что вы такие.

— Товарищи, споем еще! — звал Владимир Ильич. Он был весел и счастлив, у него горели глаза. — Товарищи, поглядите, как мы собрались. Проминские — поляки. Оскар — финн. Мы русские. Вы — украинка, Ольга Александровна.

— А я? — спросил Минька.

— А ты — латыш, наш маленький товарищ Минька. Настоящий интернационал у нас здесь собрался. Давайте петь еще!

Он первым начал:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Все с какой-то особой охотой подхватили зовущую песню:

В царство свободы дорогу грудью проложим себе.

«Товарищ» Минька тоже пел, топая и маршируя на месте, размахивая руками в такт песни, выводил, отставал, торопился:

Гру-у-дью про-оло-жим...

Уехали Сильвины поздно. Давно вернулось стадо. Не слышно дзиньканья подойников в хлевах и бабьих голосов у колодцев, по дворам угомонилась скотина. Остыла оранжевая заря. Потемнели и дальше отодвинулись горы. Пополз от проток молочный туман, встал стеной, загородил от Шушенского луг.

— Итак,— прощаясь с Сильвиным, сказал Владимир Ильич,— в назначенное время у вас в Ермаковском празднуем день рождения Оленьки Лепешинской. Пусть пекут именинный пирог.

Ямщик перебрал в руках вожжи. Жеребец выгнул шею. Бубенчики колыхнулись под дугой и зазвенели громко и дружно и, уходя дальше и дальше, где-то на окраине Шушенского постепенно утихли.

— Совсем ночь,— сказала Надежда Константиновна.

Они остались вдвоем, сидели в беседке. Владимир Ильич соорудил эту беседку из прутьев, недалеко от крыльца, во дворе. Надежда Константиновна с матерью насадили

хмель. Хмель разросся, увил беседку. Днем здесь было прохладно и зелено, как на дне морском, а сейчас, ночью, сквозь кудрявые ветви смотрели звезды. Полно звезд августовское небо!

— Видишь Большую Медведицу? — сказала Надежда Константиновна. — Ковш из семи звезд. Когда я была маленькой, отец спросил: видишь Большую Медведицу? У отца была сказка про Большую Медведицу. Она мать, а все остальные звезды — дети. Мать пошлет какую-нибудь свою звездочку проведать Землю. Как там живут на Земле, не очень ли скверно живут на Земле? Видишь, летит проведать.

— Неважно пока живут на Земле,— усмехнулся Владимир Ильич.

— Еще звезда пролетела,— сказала Надежда Константиновна,— августовские звезды падучие.

— Мне запомнился в детстве один звездопад,— сказал Владимир Ильич,— наверное, тоже было в августе. Отчего-то мы поздно всей семьей были на Волге. Возвращались с парохода, очевидно, с прогулки. Отец нес меня на руках. И мама шла возле. Я обнимал отца за шею и глядел на Волгу, огромную, ночную, черную, как разлитые чернила. Вдруг сестра Аня кричит: «Ловите звезды!» И я вижу, все звезды падают, все небо движется, осыпается, идет звездный дождь. Изумительное зрелище! Но странно, никто не помнит, кроме меня.

— Наверное, это был твой детский сон, — сказала Надежда Константиновна.— А знаешь, ведь мы одно время были с тобой земляками, задолго до Петербурга, когда вы жили в Симбирске, а мы одно время в Угличе, тоже были волжанами. После Польши отец служил там на бумажной фабрике Варгунина, на другом берегу, против Углича. Както мы поехали в Углич. На пароме переехали Волгу и пришли с отцом к церкви царевича Димитрия. Отец рассказал, там опальный был колокол. В него били в набат, он звал народ к бунту. За это у него вырвали язык и отбили ухо, а сам колокол надолго сослали в Сибирь. Я была совсем поражена этой историей. Как я сочувствовала бунтовщику-колоколу! Я его как живого любила! Что-то мы, Володя, сегодня развоспоминались о детском...

— Хорошо мне с тобой,— сказал Владимир Ильич.

— Я счастливая, — ответила она.— Самые мои любимые люди, ты и мама, рядом. Тебе труднее, твои далеко.

— Мои далеко.

Они замолчали. Темное небо, полное звезд, глядело в беседку сквозь крышу из хмеля. В тишине с берегов Шуши доносилось лягушиное кваканье.

— Мои далеко,— задумчиво повторил Владимир Ильич.— Что сегодня у них? Где они? Может быть, собрались у мамы в Подольске, у маминого старого пианино. Мама играет...

12

Так и было. Он угадал. В этот вечер на подольской даче Марии Александровны собрались все. Анна Ильинична вообще жила с матерью. Приехали из Москвы Маняша и Марк Тимофеевич, они работали в Управлении Московско-Курской железной дороги. Дмитрий Ильич привел к вечернему чаю санитарного врача Левицкого, у которого во время подольской высылки служил счетоводом.

Чаепитие затянулось. Было оживленно. Разговоры перекидывались с одного на другое. Говорили о книгах и журнальных новинках, о недавней жизни и учении Маняши в Брюсселе. Левицкий рассказывал истории из быта подольских купцов, которых по службе обязан был навещать — наблюдать за санитарным состоянием лавок и складов.

Конечно, вспомнили Шушенское.

Как-то там наши, Володя и Надя? Мария Александровна отвернула кран самовара и наливала чашку, не отрываясь следя за струей.

Всегда казался самым любимым тот, кто всех дальше. Кому труднее живется. Кому угрожают опасности. Кого сейчас нельзя приласкать. «Володя, стосковалась я о тебе! Когда ты был маленьким, у тебя были мягкие шелковистые волосы... Вспоминаю ваше детство, мои милые дети, и улыбаюсь от счастья...»

Она налила чашку. Лишнюю, потому что все уже напились.

— Уф! Спасибо, настоящий летний чай с клубничным вареньем, роскошная жизнь! — сказал Марк Тимофеевич.— Позвольте встать из-за стола, Мария Александровна?

Он встал, большой, бородатый, и пошел на террасу покурить.

— Вечер,— сказала Анна Ильинична.— Лампу пора зажигать. Поиграй нам, мамочка. Митя, унеси самовар. Маняша!

Общими силами быстро убрали со стола. В комнате должно быть чисто и прибрано, ни морщинки на скатерти, ни забытой чашки, ни брошенной книги, ни в чем нигде беспорядка. Тогда мама сядет к пианино. Не надо зажигать лампу. Не надо свечей. Она играет по памяти. Сидит за пианино, сухонькая, прямая, красивая, и играет по памяти Грига.

«Солнышко наше», — думает Анна Ильинична о матери. На душе у нее чисто, вольно, душа полна силы и нежности, и это все — музыка, с детства мамина музыка.

Дверь на террасу открыта, Анна Ильинична стоит у двери. Она не видит, но знает: Маняша, закинув руки за голову, неподвижно полулежит в качалке, наслаждается музыкой и текущим из сада ароматом цветов; опершись на крышку пианино, в задумчивости стоит возле матери Митя. Мужа своего, Марка Тимофеевича, Анна Ильинична видит. Он присел на перила террасы и курит. «Крестьянский сын» — зовет мужа Анна Ильинична. Верно, крестьянский сын и университетский Сашин товарищ. Он легко и естественно вошел в их семью и стал для всех необходимым и дорогим человеком! Мамин советчик. Мой деловитый, разумный, добрый Марк. Наш чемпион по шахматам! Не шутите. Володя уж какой шахматист заядлый и то пишет, что теперь страшно, пожалуй, с Марком сражаться, когда он самого Ласкера победил. И знаменитого Чигорина Марк обыграл, об этом даже в «Русских ведомостях» писали.

«Ах, расхвасталась мужем!» — засмеялась про себя Анна Ильинична.

Тут она увидела: светлячок папиросы угас, Марк встал с перил, бесшумно шагнул к лестнице и, пригнувшись, всматривался в глубину темного, почти уже ночного сада, откуда наплывали пряные и густые запахи флоксов.

— Марк, что ты там наблюдаешь? — тихонько подойдя, спросила она шепотом.

— Смотри. Вон, за калиткой. Видишь?

— Не вижу.

— Смотри внимательно. Видишь?

— Ничего абсолютно. А! Вот, кажется, вижу. Нет, ничего... А! Вижу, да.

Глаза пригляделись к темноте и различили шатры лип в саду, узенькую дорожку от террасы между кустами, клумбу с флоксами, калитку, за калиткой силуэт человека. Он прислонился к забору, наполовину укрытый разросшимся возле калитки шиповником.

— Этот тип давно тут торчит,— проворчал Марк Тимофеевич.

— Пусть торчит. Разве ты не привык к наблюдателям?

— Привык, да ах чешутся руки отвадить! Погоди меня здесь, Анюта.

Он живо спустился с террасы и неслышно подкрался к калитке. Анна Ильинична осталась. Но что-то

толкну́ло ее, и она тоже торопливо сошла в сад.

«Ты у нас горячка, Марк, а руки у тебя увесистые, как у Васьки Буслаева»,— думала Анна Ильинична, следуя за мужем.

Он вырос у калитки как из-под земли, рывком отворил, рявкнул:

— Вам что тут угодно?

Кто-то метнулся в сторону. Анна Ильинична поймала взгляд, сверкнувший дико и злобно, увидела перекошенное страхом лицо, и человек бросился прочь.

— Не убегай! Не уходи! Стой, стой, стой!..— отчаянно закричала Анна Ильинична и побежала за ним, спотыкаясь, едва не падая в темноте.— Стой, пожалуйста, Прошка!

Он остановился. Слышно было, как прерывисто дышит. Анна Ильинична подбежала, придерживая путающуюся в ногах длинную юбку. Подошел Марк Тимофеевич.

— Кто? Говори! Кто ты? Ну?

— Не надо, Марк, милый. Я его знаю. Прошка, ведь я здесь живу. Ты знал? Ты ко мне приходил?

— Нет.

Что с ним стало? Худ, как скелет. Скрытный, недоверчивый взгляд. Злая усмешка на губах. Его подменили. Полно, Прошка ли это?

— Ты меня узнаешь?

— Как же! Писательница А. Ульянова, хе!

«Никто не ответил бы, что писательница, только он. Как жалко у него получилось его защитное «хе»! Верить ему? Откуда ты знаешь, что ему можно верить?» — колебалась Анна Ильинична.

Он стоял и глядел исподлобья. Одичалый какой-то, затравленный. Ведь почти мальчишка еще! Несчастен, это видно. Ему надо помочь. Анна Ильинична перестала колебаться. Взяла за локоть и повелительным тоном:

— Идем.

Боже, какой худой локоть! Можно уколоться о его локоть. Что с ним сталось? Зачем он здесь? Что ему надо?

— Как ты хочешь, ни за что не отпущу тебя, Прошка, пока не поговорим. Тогда на вокзале нескладно получилось...

Он промолчал. Но шел рядом с ней по дорожке сада. Навстречу им лилась нежная, немного грустная музыка. Прошке казалось, страшно грустная, такая грустная, что заломило сердце. Зажегся свет в комнате. Выхватил из темноты грядку с настурциями перед террасой. А сад стал еще чернее и тише.

Марк Тимофеевич, ничего не понимая, шел сзади.

Музыка оборвалась, когда они появились. Мария Александровна встала навстречу приведенному дочерью юноше. Его ху́доба и угрюмый взгляд удивили ее, но она ни о чем не спросила, доверяясь Анюте.

— Здравствуйте.

Он не ответил. Во все глаза глядел на нее. На ее черное платье и белые волосы.

— Садитесь, пожалуйста,— приветливо сказала Мария Александровна.

Странный, нелепый парень! Но что-то в нем вызывало у нее приязнь и участие.

— Мамочка, сейчас ты узнаешь кое-что интересное о нашем госте,— сказала Анна Ильинична.— Сейчас, друзья, я вам представлю его, моего старого петербургского знакомого.

Она подошла к самодельной книжной полочке, висевшей у стены на длинных шнурах, достала толстый том.

«Зачем ей понадобилась Володина книга?» — в удивлении подумала мать.

Эта книга по-особенному была ей дорога. Она начиналась у нее на глазах. Володю арестовали. Они с Анютой переехали в Петербург, поселились вблизи от тюрьмы. Каждую передачу Анюта тащила кипы литературы для брата. Уйму справочников и всякого рода научных материа-

лов прочитывал он от передачи до передачи. Володя в тюрьме готовился писать эту книгу. Писал он ее и в ссылке. В письмах Володина книга называлась у них «рынками».

«Теперь Володя ушел уже решительно и окончательно в свои рынки, жадничает на время страшно...» — писала Надя из Шушенского.

«...Володя торопится с рынками», — в другом письме писала она. И в другом, и в другом.

Затем пошло от Володи.

«Я кончил четыре главы, и сегодня даже переписка их набело заканчивается, так что на днях посылаю вам еще III и IV главы»,— в декабре 1898 года писал он из Шушенского Анюте и Марку.

Через неделю:

«Посылаю сегодня же на мамино имя заказной бандеролью 3-ю и 4-ю главы рынков».

Через три недели:

«Шестая глава моей книги кончена (еще не переписана); надеюсь недели через четыре кончить все».

Через две недели:

«Посылаю с этой почтой заказной бандеролью на твое имя еще две тетради своей книги (главы V и VI) [и отдельный листок оглавление]: в этих двух главах около 200 тыс. букв+еще приблизительно столько же будет в двух последних главах. Интересно бы знать, начали ли печатать начало...»

Через две с половиной недели:

«Посылаю тебе сегодня, дорогая мамочка, остальные две тетради своих рынков, главы VII и VIII, затем два приложения (II и III) и оглавление двух последних глав. Наконец-то покончил я с работой, которая одно время грозила затянуться до бесконечности».

Через четыре дня:

«Посылаю сегодня еще небольшую бандероль (заказную) на твое имя, дорогая мамочка... Со следующей почтой пошлю еще маленькое добавленьице к VII-ой главе».

Книга писалась за тысячи верст, а мать знала о появлении каждой главы. Она первой держала в руках каждую главу, вчитывалась в быстрый, бисерный почерк.

— Узнаешь? — протянула Анна Ильинична Прошке. — «Развитие капитализма в России». Владимир Ильин.

У него посветлело лицо, на миг стало прежним, ребяческим.

— Мамочка! Он ее печатал в Петербурге в типолитографии Лейферта. Тогда мы и познакомились. Прошка, помнишь, ты приносил мне на корректуру листы? Ты еще говорил, что здесь все правда, в этой книге, написана, ты еще тогда политической ее называл.

Внезапно он омрачился, рывком шагнул к двери, схватил скобку.

— Прощайте. Я пойду. Мне пора.

Он улизнул бы, если бы широкая ладонь Марка Тимофеевича не накрыла на дверной скобе его руку:

— Постой, парень. Успеешь уйти.

Мать приблизилась:

— Отпустите мальчика, Марк Тимофеевич.

Он отпустил.

— Вы уйдете, у нас не держат насильно,— произнесла мать с достоинством.— Но сначала мне хочется угостить вас чаем и домашней булкой. Такой у нас обычай — обязательно угостить гостя.

Она указала на стол, покрытый скатертью. Посредине стола в вазочке стояли оранжевые и красные астры. Вдруг они покачнулись, наклонились набок и бешено завертелись, сто красных и оранжевых солнц раскололись вдребезги и усыпали осколками стол. Марк Тимофеевич успел подхватить Прошку.

— Что с тобой, парень?

— Сядьте! Пусть он сядет! — послышались голоса.

В комнате было много людей, но Прошка узнавал только мать с белыми волосами и слышал ее голос:

— Вам плохо? Надо выпить кофе и непременно что-нибудь съесть.

Но он боялся их ослепительной скатерти.

— Не хочу я, некогда мне. Прощайте, отпустите меня,— просил он хриплым голосом. И озирался исподлобья. Что за люди? Куда он попал? Как во сне. Давно, в Петербурге, приснился Прошке сон про Анну Ильиничну...

— Мамочка, мне надо побыть с ним вдвоем,— что-то надумав, решительно сказала Анна Ильинична.

Мать поглядела на Прошку.

— Не бойтесь, Проша.

Анна Ильинична повела его низеньким коридорчиком, мимо маленьких комнат с желтыми полами. На окнах тюлевые занавески, в горшках цветы, на шнурках подвешены книжные полки. Анна Ильинична привела его в кухню. Зажгла керосиновую лампу. Осветились плита, деревянная лавка, дощатый чисто вымытый стол. В кухне не было никого.

— Сядь,— велела Анна Ильинична.— Дам сейчас тебе есть. Давно не ел?

Прошка не ответил. Он не ел двое суток. От голода у него ломило живот, в глазах стреляли искры. Забыла Анна Ильинична оставить или нарочно не оставила книгу в комнате, принесла в кухню, положила на край стола и быстро принялась хозяйничать. Достала из шкафа кусок мяса, масло, молоко, початый пшеничный каравай, ноздреватый, пышный, с коричневой коркой. Прошка глядел на каравай, не мог скрыть волчью жадность.

— Ты поешь, а я скоро вернусь,— сказала Анна Ильинична. И ушла.

Прошка огляделся, вмиг оценил обстановку. Окно низко, не заперто ставней. Хлеб и мясо за пазуху и — поминай как звали! Он схватил каравай. Пышный, легкий каравай смялся в руке. Нечаянно взгляд упал на оставленную Анной Ильиничной книгу. «Развитие капитализма в России». Владимир Ильин. Лицо Прошки, желтое и некрасивое от худобы, сморщилось, стало старым грибом. А, не побежит он в окно вором с добычей! Сел на лавку. «Не надо мне вашей еды, больно мне надо!»

Но голод был сильнее самолюбия, и он торопливо, жадно принялся есть, отрывая зубами куски хлеба и мяса, давясь. Наелся. Хотел спрятать остаток каравая в карман, почему-то не спрятал. «Теперь убегу». Подошел к окну, потрогал раму. «Нет, не побегу. Все равно».

Тут вернулась Анна Ильинична.

— Поговорим, Проша?

Он угрюмо глядел на нее. О чем говорить?

— Почему ты в Подольске? Что ты делал у нашего дома?

Прошка молчал.

Анна Ильинична придвинула книгу «Развитие капитализма в России».

— В ней есть и твой труд. Спасибо тебе. Эта книга нас связывает.

Он вздрогнул, ошеломленно уставился на нее.

— Ты заметил, у мамы белые волосы? — спросила Анна Ильинична. — Знаешь, когда это с ней стало? Ее старшего сына, Сашу, Александра Ульянова, революционера, царь осудил к повешению. В то утро она поседела. С того рассвета, когда... Ну, Прошка... что случилось с тобой?

И он рассказал.

...Помните вечер на петербургском вокзале, когда поезд тронулся, покатились вагоны, проплыло в окне растерянное, что-то спрашивающее лицо Анны Ильиничны и Прошка остался один? Проводил поезд и пошел домой.

Все холоднее задувал с севера ветер. Раскачал Неву. Длинные волны с ревом бились о гранитную набережную, вскидывая фонтаны ржавой пены и брызг. Неуютно на улицах. И дома некуда деться. Прошка, как обычно, направился в библиоте-





ку. Кстати книгу Амичиса «Школьные товарищи» сдать. На этом и кончится все. Что? Он сам не понимал. Но что-то оборвалось и кончится...

В библиотеке был Петр Белогорский. Ничего в этом особого не было. Белогорский, как обычно, рылся в каталогах. Обрадовался Прошке, затряс шевелюрой.

— Хочешь, давай пошатаемся? Хочешь, поговорим, а? Меня к тебе тянет, а? Ты ведь мой крестник, так сказать, я тебя вовлек в наш... Впрочем, не будем об этом. Ты какой-то нетронутый, какой-то князь Мышкин или на Алешу Карамазова смахиваешь, а у меня накопилось, хочется вылиться, не первому встречному, человеку с душой хочется вылиться!

И они очутились на улице, на холоде, на ветру, под петербургским грифельным небом.

— Скажи откровенно,— сразу начал Белогорский,— как тебе показалась Кускова? Как ты ее аттестуешь? Что она, по-твоему, собой представляет?

— Не знаю,— нехотя ответил Прошка.

— Нет, я в тебе ошибся! — яростно вскричал Петр Белогорский.— Оказывается, ты эмоционально не одарен, если она не произвела на тебя впечатления. У тебя слабо развита сфера чувств. Неужели ты не понял, что она выдающаяся женщина нашего времени?

Он в возбуждении принялся говорить о Кусковой. Что она талант и исключительный ум. Что она одна знает верный путь спасения рабочего класса. Она всей Европе известна. Она передовая во всем, как Жорж Санд, за свободу любви, третий раз замужем, гражданским браком, конечно, определила сына на воспитание какой-то из свекровей, а сама живет свободно, ради общественных целей.

— Стой! Хочешь, открою секрет? Давай лапу.

Он взял Прошкину руку, сунул к себе в карман. Рука Прошки наткнулась в кармане на сверток бумаг.

— Листовки,— оглядываясь по сторонам, секретно прошептал Белогорский.— Не наши. Их. Понял? О классовой борьбе и политике, против чего мы и спорим. С риском страшенным раздобыл для нее, я для нее на все готов, она просила, нужно ей знать досконально их позиции, чтобы опять положить на лопатки. Так их! На лопатки их! Хочешь прочесть?

Прошка хотел. Очень хотел своим умом разобраться в рабочих листовках, потому что слова Петра Белогорского не совсем ему были ясны. Читать листовки на улице нельзя, таким образом Прошка попал к Петру Белогорскому, который, как оказалось, жил в большом барском доме. Поднялись на третий этаж.

— У нас об этом ни слова, молчок. Папахен мой министерский чиновник, так что ни гугу. Разумеешь? —приложив палец к губам, предупредил Петр Белогорский.

Открыли дверь ключом. Вошли.

— Что это? — отшатнувшись, вскрикнул Петр Белогорский.

Здоровенный жандарм встречал их в прихожей.

— Пожалуйте-с в комнаты, вас ожидают,— обратился жандарм к Петру Белогорскому.

Второй дюжий детина в жандармских погонах стоял у входа в комнаты и тоже:

— Пожалуйте.

Прошка увидел разом посеревшее лицо Петра Белогорского. Прошка сам испугался жандармов.

— Что такое, я не понимаю... чепуха какая-то... вы ошиблись,— бессвязно бормотал Петр Белогорский, незаметно между тем вытаскивая из кармана и, не оглядываясь, тыча за спиной Прошке листовки.

Прошка, не думая, взял, сунул за пазуху.

— Ну, идемте, раз надо, идемте,

идемте! — заспешил Белогорский и кинулся в комнаты.

Прошка хотел уйти.

— Никак нет, не дозволено,— вырос перед дверью жандарм.

Второй дюжий жандарм в два шага очутился возле Прошки. Вот так штука!

— Меня-то к чему зацепили? Я сюда и зашел-то случайно,— пытался Прошка уговорить жандармов.

Они сторожили его полчаса или час. Прошка стал нервничать и впадать в нетерпение, когда из комнаты появился жандармский полковник.

— Тзк-с,— просвистел он, скользнул небрежным взглядом по Прошке и, вытянув в его сторону длинный белый палец с розовым ногтем: — Обыскать.

В мгновение оба жандармских молодца накинулись на Прошку, обшарили, ощупали, нашли за пазухой свернутые в трубку листовки.

— Тз-зк,— сказал полковник, пробегая глазами одну из листовок, постукивая об пол носком сапога.— Тэ-эк,— с размышляющим видом повторил он.

Листовки оставил себе, Прошку приказал увести.

Прошка не понимал, что с ним происходит. Когда двое жандармов, ухватив за локти, сводили его с лестницы, он не понимал, куда его тащат, зачем. Куда, зачем везут его в извозчичьей пролетке? И даже когда захлопнулась дверь и зловеще повернулся в замочной скважине ключ, запирая его в камере, он не поверил. Потом на него нашло исступление, и он стал колотить в дверь кулаками, биться, кричать. Скрежетнул в скважине ключ. Просунулась голова надзирателя:

— Тихо! Карцеру захотел?

Прошка утих. Железный откидной стул, железный стол, железная койка. Под потолком решетка оконца. Что они хотят с ним делать? В чем он виноват? За что его судить? Прошка не придал значения отобранным у него листовкам и думал, что его судить не за что. Он лег на тюремную койку, накрылся с головой тоненьким одеяльцем и, всхлипнув, как кутенок, от одиночества и обиды, уснул.

На следующее утро Прошка ждал, вот вызовут, разберутся, отпустят. Его беспокоило, что прогулял из-за жандармов работу. Но ничего, авось Фрол Евсеич заступится...

Весь день не вызывали. Прошка истомился от ожидания. Не мог есть, плохо спал ночь, метался.

На другой день с утра начал ждать. Опять не позвали. Еще прошел день. Еще. В первую же тюремную неделю Прошка потерял весь свой прежний доверчивый ребяческий вид. Уже не глядели глаза его открыто и удивленно, жадно ловя впечатления жизни. Взгляд стал неспокоен и скрытен. Скулы обтянулись.

Его вызвали через неделю. Молодой следователь допрашивал вежливо и неумолимо. Это было его первое дело, он старался изо всех способностей, надеясь себя показать.

— Где вы взяли листовки? Кто вас вовлек в организацию? Назовите товарищей.

У Прошки не поворачивался язык сказать, что листовки у него от Петра Белогорского.

— Признавайтесь, что ваша цель возбудить рабочих к борьбе против правительства.

— Нет.

Но в камере, оставшись один, Прошка думал. Вот о чем были листовки. О рабочей борьбе. Прошка вспоминал, что говорилось на кружке у Кусковой. Рабочим не до борьбы. Рабочие к политической борьбе неспособны. Образованный класс буржуазии способен. А листовки, которые Петр Белогорский раздобыл для Кусковой, о рабочей борьбе. Прошка думал, думал.

— Напрасно вы упираетесь, улики против вас,— сказал следователь на втором допросе и дал Прошке по-

знакомиться с показаниями Петра Белогорского.

— Враки! — заорал Прошка.

Они врут на Петра Белогорского! Он не верил, что Петр Белогорский может... Прошка так бесновался, что следователь почел нужным засадить его в карцер. В карцере сыро, темно. Осклизлые от плесени стены. Утром кусок черствого хлеба и кружка воды. Вечером кусок хлеба и кружка воды. Дощатые нары без подстилки. Нечем укрыться, холодно. Сутки, вторые, третьи...

Прошку вызвали на очную ставку.

— Напрасно вы упираетесь,— сказал Прошке следователь, вежливо предлагая стул Петру Белогорскому, тихому, с серым лицом (раньше он не был таким тихим, серым, дрожащим).

— Подтвердите ваши свидетельства, господин Белогорский.

— Подтверждаю...

Ни разу он не посмел взглянуть на Прошку. Нервно откидывая плоские пряди волос (раньше у него не были такие плоские волосы), он повторил показания, что такой-то ученик-наборщик типолитографии Лейферта соблазнял его листовками, призывающими к свержению власти...

— Гад! — с презрением сказал Прошка. — Все вы гады, мерзавцы.

И снова угодил в карцер.

Бедный Прошка! Они сломили его. Через полгода он вышел из тюрьмы тусклый, погашенный. Ненавидел весь мир. Забыл все хорошее, что было в его жизни. Не было хорошего! Он не верил никому. Ни на кого не надеялся. Никто не поможет.

Нашелся все же человек, который помог. Однажды в тюрьме Прошку вызвали на свидание к дяде.

— Нет у меня дяди. Ловите? Дудки!

Бедный Прошка. Напрасно отказался он от свидания. Под видом дяди приходил Фрол Евсеевич.

Фрол Евсеевич и выхлопотал разрешение Прошке перед высылкой заехать на родину на три дня для прощания с отцом. После чего надлежало Прошке заарестоваться в Москве в Бутырской тюрьме и этапом в Сибирь. Фрол Евсеевич купил Прошке билет до Подольска. Бабушка навязала «арестантику» пышек в косынку, покрестила поминальной за здоровье просвиркой, велела каяться, чтобы бог простил грехи, и Прошка поехал к отцу в город Подольск.

Сердце горько и сладко заныло, когда он вступил на свою «детскую» деревянную улицу с зелеными огородами и белыми овсами на задворках. Все стало меньше, чем было. Дома низенькие, мизерные. А отцовский дом стал новее. Крыша покрашена, рамы побелены, в окнах герань.

Было воскресенье, отец с мачехой пили чай, когда он вошел. И их ребеночек, девочка лет четырех, русоголовая, кругленькая, смирно ела что-то деревянной ложкой из миски.

Прошка остановился у порога, снял картуз. «Как нищий»,— мелькнуло у него. Он бурно покраснел и стал неловок, и голос у него охрип.

— Здравствуйте.

Как ни странно, первой узнала его мачеха.

— Глянь-ка, сын твой объявился.

Отец охнул, взмахнул рукавами праздничной сатиновой рубашки, засеменил к порогу, вытер усатый рот, стал целовать Прошку в щеки — все суетливо, мелкими, какими-то пугливыми движениями. А она сидела молча, с тяжелыми плечами и пышной, как подушка, грудью.

— Ты что стоишь-то, ты садись, чай давай будем пить, у нас вон лепешки из печки, теплые еще,— побабьи суетился отец, усаживая Прошку за стол.— Наружность-то как твоя изменилась, тощой да нехороший, из тюрьмы будто.

— Из тюрьмы и есть,— хрипло ответил Прошка.

Отец осекся, разинув рот. А мачеха, повернув к отцу налитое, молочной белизны лицо с подрисованными бровями, сказала, не удивляясь, не гневаясь, ровно и твердо:

— Чтоб каторжного в моем дому не было. Откель пришел, пущай туда и идет.

Прошка встал из-за стола, не успев откусить теплой лепешки. Русоволосая девчонка не взглянула на Прошку, продолжала, как заведенная, есть деревянной ложкой из миски. Отец семеня проводил его до калитки. Там всхлипнул, вцепился в него.

— Ты не серчай. Она уж таковская. Ты уж смирись. Ты пошатайся до обеда по городу, а я ее уломаю. В тюрьму-то за что тебя упекли? Политический? Ох, беда! Ты обедать-то приходи. До смерти не прощу, ежели не придешь. Ты отца уважать должон, приходи, слышь?

Прошка пришел, потому что забыл в отцовском доме одежду свою в деревянном сундучке. Они уже отобедали. Мачеха сидела у окошка, глядела на улицу и щелкала семечки. Русоволосая девчонка неслышно нянчила в углу куклу. Отец ухватом достал из печки чугунок с похлебкой. Руки у отца тряслись, он едва не расплескал похлебку. У Прошки ком стоял в горле. От жалости и неуважения к отцу. От страха перед жизнью.

— Ну вот что,— сказала мачеха, когда он покончил с похлебкой,— больше не приходи. Каторжные нам ненадобны. А то в полицию заявлю. Прощай. Иди с богом.

Опять отец проводил до калитки. Мялся, вздыхал. От него пахло водкой. Вышли со двора. Отец прикрыл калитку и, озираясь, вытащил из-под рубашки серенькие варежки из овечьего пуха, с вывязанными по серому белыми звездочками, славные варежки, будто игрушечные.

— На! Материны, мамочки нашей покойной. Сберег. Возьми памятное, жадина-то наша все в укладку себе, одни только их утаить и сумел. Мамка была у тебя, Прохор! Что имеем, не храним, потерявши, плачем.

И ушел, пьяно спотыкаясь и всхлипывая.

Прошка засовал в деревянный сундучок мамину память. Куда идти с сундуком? Третий год, как Прошка из Подольска уехал. Где искать товарищей? Где они? Нет, не в том причина, что растерялись товарищи. Стыдно под чужой крышей приюта искать. Спросят, что же тебя дома не приняли?

За отца стыдно. Тятька, как скрутили тебя.

К одному товарищу все-таки он постучался. Сдал сундучок на хранение.

Бабушкины подорожные съедены, в кармане ни копейки. Первую ночь ночевал в городском парке. Вторую под лодкой на реке, как читал недавно в рассказе у Максима Горького.

Целый день искал, где бы заработать на хлеб. Никому его рабочие руки не нужны. Он хотел есть. К концу второго дня начал подумывать, где бы украсть. Булку, селедку, круг колбасы — что-нибудь! Он мечтал о колбасе. В хорошие времена в получку он покупал, и, если был день не постный, они с бабушкой ели колбасу, нарезав тонкими ломтиками. Вот была жизнь! Под конец отпуска, с таким трудом выхлопотанного для него Фролом Евсеевичем, Прошка ни о чем не мог думать, кроме еды. Украл бы что хотите, да не сумел, слишком уж был простофиля. Да и вид у него подозрительный. Прошку гнали отовсюду из-за вида.

Оставалось сесть безбилетником в поезд и раньше срока заарестоваться в московской Бутырской тюрьме, откуда его по этапу погонят в ссылку. Нет, он не хотел идти в тюрьму раньше срока! Он еще спорил со своей злой судьбой. Еще гневался, где-то на самом донышъ

ке души в нем жила еще гордость.

А потом упал духом. «Кому я нужен? А мне чего нужно?»

Черное, неотвязное зашевелилось в мозгу: «Чего мне нужно?» Он ждал ночи. Ночью решил выйти на железнодорожную насыпь за городом, подстеречь скорый ночной и... прощай, жизнь лихая!

В последний раз сходил поглядеть мост через Пахру. Интересный мост, крытый. Серединой едут обозы, скачут коляски, по бокам проходы для пешеходов. Даже в Питере нет такого моста, как наш подольский, под тесовой крышей...

И в Питере никто не заплачет о Прошке. Никого нет у Прошки, ни единого родного человека на всем земном шаре.

Он шел берегом Пахры, смотрел на ее крутые извивы, в последний раз смотрел на заходящее солнце. Вскарабкался на высокую гору. Побрел городским парком. Над крутизной вдоль Пахры, посреди лип и берез и сиреневых кустов стояли дачи. Из одной дачи послышалась музыка...

13

— Ты как хочешь, Пантелеймон, без твоей помощи я пропадаю в полном смысле; как хочешь: или помогай, или я пропадаю,— говорила мужу Ольга Борисовна Лепешинская. Стриженая, в пенсне, с продолговатым лицом, она была решительной и деятельной женщиной.

Окончила в Петербурге фельдшерские курсы. А еще раньше начала работать в нелегальных марксистских кружках, была образованной и страстной марксисткой. Но в Сибирь приехала не ссыльной, а женой ссыльного, готовой хоть на край света следовать за мужем, и уже здесь, в Сибири, навсегда определила свой жизненный путь. А в то же время была семьянинкой, неспокойной и нежно заботливой матерью. Во всем сказывался ее бурный и живой темперамент. Вот и сейчас:

— Пантелеймон, помогай, или я пропадаю!

— Сохрани бог, не пропадай, милочка, лучше я помогу. Что требуется? Воды принести?

— Какое воды! Взгляни, оно лезет и лезет, никак его не уймешь.

— Действительно лезет,— согласился Пантелеймон Николаевич.

Они в смущении стояли над квашней, полной пузырчатого теста, которое поднималось все выше и действительно начинало вылезать через край.

— А ей хоть бы что! — ласково кивнула Ольга Борисовна на розовенькую дочку, спящую в белых простынках в самодельной кроватке из корзины.

— Едва дожить до полугода и уже участвовать, пусть косвенно, в политической деятельности, — пошутил Лепешинский.

— Никакой политической деятельности! Празднуем неотпразднованное рождение нашей дочурки, нашей первенькой! Лучше поздно, чем никогда. А вон и тезка моя идет, Сильвина. Спасибо, Пантелеймон, не требуется твоей помощи. Воображаю, каких мы налепили бы с тобой пирожков!

В дверь постучалась Ольга Александровна Сильвина. Невелика ермаковская колония политических ссыльных, а подите ж — две Ольги есть. Сильвина Ольга Александровна, правда, тоже не ссыльная, она здесь добровольно, как и Ольга Борисовна. Уже второй месяц. Перезнакомилась и подружилась со всеми, весела и счастлива. Вот и судите, что это — счастье? В чем оно? Какое оно?

Угрюмо подтаежное село Ермаковское. Пустынна широкая улица. Избы сложены из лиственничных, темных от времени бревен — двести лет простоят, хоть бы что! На окнах ставни с железными болтами. Заборы высокие, прочные. Ворота под

навесами. На ночь запрутся, что там за заборами, за ставнями, не видать, не слыхать. Близко к селу Ермаковскому подступила тайга. В осенние ночи страшно в тайге от глубокого векового гула, скрипа стволов, похоронного завывания ветра. Саяны высят снеговые сверкающие хребты над увалами или укутаются сизыми тучами, и кажется, отгородилось село Ермаковское непроходимой стеной от всего белого света. И жутко приезжему, одиноко.

А Ольге Александровне хорошо. В избе Сильвина с белыми половицами устроила дом. Повесила занавески на окна, прибила к стене фотографию матери и копию Левитана «Над вечным покоем», соорудила из табуретки столик к постели, на столике сочинения Пушкина, всегда за делом, чем-нибудь всегда занята, скучать некогда.

Вот топают ее каблуки на крыльце Лепешинских. Прибежала.

— Не поздно?

— В самый раз. Повезло тебе, Пантелеймон. Ступай к своим книгам. А мы за стряпню.

Две Ольги взялись лепить пирожки и обсуждать насущные житейские и бытовые вопросы. Как животик у девочки? Остерегайтесь августа, последний мушиный месяц. Уж эти мухи, сладу нет! А что в больнице? А ваши уроки как?

Ольга Лепешинская служила в больнице фельдшерицей. Ольга Сильвина готовила докторского сына в гимназию. Доктора Арканова Сильвин не придумал. Доктор Арканов на самом деле был в селе Ермаковском. И сын у доктора был, и Ольге Александровне, к великой ее радости, предложили давать сыну уроки.

Обо всем надо переговорить. А между тем и с обедом поторапливаться надо.

Волостному начальству известно: у Лепешинских сегодня семейный праздник. Съедутся гости, ссыльные из Минусинска, села Тесинского, Шушенского, в пятидесяти, ста верстах от села Ермаковского. Высшими властями уездному и волостному начальству дано указание: строжайше следить, чтобы сосланные социал-демократы не занимались политикой, и наоборот, семейную жизнь и отвлекающие от политики семейные радости велено поощрять.

Звенят колокольцы по дороге в село Ермаковское. Трясутся на ухабах двуколки и ходки на тонких колесах. Спешат гости.

В то время когда у Лепешинских готовились к встрече гостей, Ванеевы тоже были заняты хлопотами. Вернее, была занята Доминика Васильевна. Вместе с хозяйкой они перетащили кровать из маленькой комнатушки, называемой кабинетом Ванеева, в большую. Поставили поближе к окну, застелили все чистым, и Доминика Васильевна уложила мужа на свежую постель, на высоко взбитые подушки и вытерла со лба у него обильно выступивший пот.

— Черт возьми, ослабел,— виновато улыбнулся Ванеев.

— Ничего, пустяки, милый.

Живя между отчаянием и надеждой, она научилась управлять собой, когда темнеет в глазах от тоскливых предчувствий.

— Серденько мое,— сказал Ванеев, с любовью глядя на ее потяжелевший стан в свободном платье-капоте.

— Хитрец, по-малороссийски заговорил, чтобы как-нибудь подольститься.

— Малороссияночка моя,— медленно выговорил он, закрывая глаза.

Он слег дней десять назад. Все шло ничего — после разных болезней, не отпускавших от самой тюрьмы, здесь, в Ермаковском, куда недавно их перевели наконец из студеного, с колючими ветрами Енисейска, он немного поправился, ожил, как вдруг ни с того ни с сего

хлынула горлом кровь. Доминика испугалась, закричала:

— Спасите! Спасите!

Он тоже испугался. Побежали за доктором. Участковый доктор Семен Михеевич Арканов, человек сердечный и расположенный к ссыльным, немедля пришел. Велел достать из погреба льду. Давал глотать маленькими дольками. Что-то еще делал, чтобы остановить кровотечение. От потери крови Ванеев обессилел, не мог поднять руки. Жизнь уходит, почувствовал он.

— Умираю?

— Еще чего! Больно торопитесь. У внуков на свадьбе отпляшете, тогда и помирайте с богом.

Доктор Арканов был флегматичен и неуязвимо спокоен. Его спокойствие ободряюще действовало. «Не умру,— поверил Ванеев.— Не умру. Справлюсь. Встану».

Он лежал на чистой постели, на высоких подушках, ощущая свою легкость, почти невесомость. Представлялось детство в Нижнем, на Волге. Закрыл глаза, и тотчас закачало, понесло, и он поплыл в лодке по реке. Лодка резала носом воду, у бортов шумело, волны мерно откатывались к берегу, набегали на песок. Он плыл под высоким ярко-зеленым откосом. Долго-долго. Без конца, без конца...

...Детство. Уездное училище в Нижнем Новгороде, еще в мальчишках работа писцом, книги, друзья, закадычный товарищ Миша Сильвин, споры, дискуссии, снова книги, Карл Маркс. Началась новая жизнь.

По-настоящему она началась в Петербурге, со встречи с Ульяновым. Ульянов его поразил. Всего на два года старше, он был зрелым, когда все они еще оставались юношами. Он ясно знал путь и цели борьбы, что революция неизбежна, что рабочий класс победит. После встречи с Ульяновым Ванеев стал марксистом и революционером не в мечтах, а на деле. Работы по горло! «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Пропаганда марксизма в рабочих кружках, листовки, стачки. Рабочий класс Петербурга был захвачен борьбой. Они жили с сердцами, полными практических забот и огня. Жили прекрасно и трудно.

— ...Толь!

Лодка, в которой он плыл, задела днищем за песчаную отмель, в борт толкнулась вода, лодка стала...

Он открыл глаза. Доминика склонилась над ним, спасительница его Ника, черноглазая малороссиянка его, с охапкой диких причудливых и пестрых цветов.

— Толь, это тебе. Они приехали. Собрали тебе по дороге букетище. Привет друзей и дар тайги. Получай!

Она поставила букетище в кринку с водой. Провела платком по его лбу.

— Тебе лучше, ты меньше потеешь,— сказала она, торопливо пряча влажный платок.

— Все приехали? — спросил Ванеев.

— Все. Завтра соберемся у нас.

— Завтра, у нас?

Он приподнялся на локте. Его глаза почти василькового цвета блестели сухим жарким блеском. Доминика пугалась этого блеска.

— Толь, тебе нужно лежать.

— Ты сказала сама, что мне лучше, я чувствую прилив сил и такой подъем жизни, все во мне всколыхнулось, все жаждет действия, ум мой просит и молит работы, я живу, Ника, я весь нетерпение, я мечтаю, чтобы в этом деле, таком важном, была моя часть и помощь.

Он закашлялся и упал на подушки. Она в ужасе следила, как содрогается его грудь, клокочет в груди. Что делать? Вдруг опять хлынет кровь? Спаси, спаси, боже! Кто-нибудь, прибегите! Товарищи, где вы?

Она опустилась на колени и с болью глядела на него минуту, пять минут, вечность, не зная, чем помочь. Наконец он утих. Обошлось. От напряженного кашля на щеках у него выступили два резких алых пятна.

Она встала с колен, осторожно приподняла его голову, на подушке остался мокрый след, она перевернула подушку на другую сторону.

— Отдохни, Толь, мой любимый, родной, мой единственный!

— Говори.

— ...мой любимый, единственный...

Она вышла на цыпочках, считая, что он уснул. Ванеев с задумчивой улыбкой слушал ее уже умолкнувший, а для него все звучащий голос. Бывает так, в ушах звучит и звучит, не умолкает не слышная другим музыка. Ванеев повернул голову и стал глядеть в окно. Хочется, чтобы под окном качала ветвями береза с шумными листьями. Чтобы шелестели листья.

Во всем селе Ермаковском ни березы, ни яблони. Ни даже маленького садочка возле чьей-то избы нет в угрюмом подтаежном селе Ермаковском.

Запрокинув голову, Ванеев следил за движением облаков. Они спешили, толпились, еще летние, белые, с яркими краями. «Тучки небесные, вечные странники...» Мы с тобой странники, Ника.

Он вспомнил, как увидел ее впервые...

— На свидание. К невесте! — под звон ключей раздалось возле камеры.

Он знал, оставшиеся на воле товарищи непременно позаботятся о «невесте», чтобы было кому навестить и принести передачу. Пока оставались на воле сестры Невзоровы, землячки из Нижнего. Значит, они и подыскали в «невесты» когонибудь из подружек-курсисток. Для какой-то незнакомой девушки это будет важным партийным поручением. И все. После тюрьмы и повидаться, может, не придется с «невестой». И все же, когда его позвали, он заволновался, пригладил волосы, нервно одернул тужурку, заспешил и, пока шел гулким коридором, придумывал первые умные фразы и забыл все в комнате для свиданий, увидев ее.

При его появлении она поднялась со скамьи, довольно высокая, статная, черноглазая, с полным, девически миловидным лицом. С одного взгляда он почувствовал симпатию и влечение к ней. Она поднялась и... смешалась. На табурете сидел жандарм. Он привык быть свидетелем свиданий, но для них оно было первым, жандарм им ужасно мешал!

Она колебалась всего секунду. Легко подошла.

— Милый! Я так скучаю о тебе! — поцеловала в губы.

Он не помнил, что ей отвечал. Как они сели рядом на скамью. Как он держал ее руку и глядел на ее лицо, стараясь отгадать, кто она, какая она.

«В ней есть энергия, и задушевность, и детская наивность, и сила, и мягкость, она чудесная, мне ее послала судьба...» Так он думал, оставшись один, опять запертый в камере, восстанавливая слово за словом все их свидание. Их удивительную, долгую и мгновенную встречу. Они успели узнать кое-что друг о друге.

— Я ждал тебя, очень ждал! — сказал Ванеев.

Она ответила:

— Теперь я буду приходить к тебе всегда.

— Как я мог так долго жить без тебя?

— Ты не будешь больше без меня. Я буду приходить.

— Ох! Какая это радость!

Она нахмурилась, что-то соображая, и, просияв через мгновение, сказала:

— Меня не сразу к тебе пустили. А сегодня слышу: Доминика Васильевна Труховская, на свидание!

«Ага. Доминика Труховская,— понял Ванеев. — Необычное имя, как мне нравится ее имя! Умница, как она сообразила, как мне сказать,

чтобы не догадался жандарм, что мы никогда не виделись. Доминика. Никогда не встречал женщин с таким именем».

— Я люблю, когда ты зовешь меня Никой,— сказала она.

«Ах, вот что, я зову тебя Никой. Моя Ника. Моя милая Ника. Моя невеста Ника».

— А мне нравится называть тебя Толем.

Никто не называл его так. Она придумала называть его Толем. Изобретательница Ника!

Он мерил шагами камеру. Из угла в угол. От двери к окну. Взад и вперед. «У меня есть Ника. У меня есть Ника».

С этого дня его тюремная жизнь изменилась. Его жизнь наполнилась ожиданиями. Он ждал понедельника. В понедельник разрешалось свидание продолжительностью в тридцать минут. Полчаса. Знаете ли вы, что такое полчаса? Неделя одиночества, и полчаса, всего полчаса! Так мало, так много! Один миг и — почти бесконечность.

Он ждал четверга. В четверг они виделись через решетку.

— Вчера у нас на Бестужевских была интересная лекция! — кричала она через решетку, всеми пальцами вцепившись в нее.

«Ты курсистка, ты учишься на Бестужевских курсах, умница моя!— он тряс головой, показывая, что понял.— Все понял, говори дальше».

— Землячки твои шлют привет,— кричала она.

«Так и есть, она их подруга. Моя Ника — подруга моих землячек Невзоровых. Хочется смеяться, шутить, хочется расцеловать кого-нибудь, больше всего тебя, Ника!»

В понедельник и в четверг, как ни коротки встречи, они ухитрялись поговорить о друзьях и товарищах, о воле, о книгах. Они спешили. Скорее, скорее, больше, больше сказать!

— Всю неделю читал Бальзака. Запоем, Ника! Какой своеобразный, поэтичный художник! Какие разноречивые отклики будит в душе.

— Да, да! Я тоже восхищаюсь Бальзаком. Меня восхищают его сильные типы.

— Ты сама сильная! — кричал через решетку Ванеев.

Она умолкла. Замкнулась. И даже ему показалось, ушла со свидания чуточку раньше.

Чем ближе к окончанию его тюремного срока, тем сдержаннее становилась она. Замкнутей, суше. Но ведь он уже знает, Ника дала ему знать, что она революционерка, распространяет листовки, связана с рабочими, дружит с Невзоровыми и Крупской, она член «Союза борьбы», она близка им всем по духу, по делу, по целям, его Ника, почему она умолкает, уходит куда-то, оставляет его? Почему?

Внезапно он догадался. «Ты дурачина, Ванеев. Неужели тебе не понятно? Ты мальчишка, ты никогда не любил, ты не знаешь женщин. Ты не разглядел, что она была ласкова по долгу. Она равнодушна к тебе, она выполняла партийный долг и теперь, когда твое тюремное заключение кончается, спокойно, с чистой совестью уйдет от тебя. Может быть, там, на воле, у нее есть действительный жених и ей уже тягостно встречаться с тобой. А ты вообразил! Нет у нее к тебе чувства, она не любит тебя».

Ванеев бегал по камере или, сжав виски кулаками, сидел за откидным железным столом, переживая муки разочарования и ревности к кому-то неизвестному, отнимавшему у него Нику.

Новая беда. Ее арестовали. Он был еще в заключении. В эти несколько месяцев, когда они были в разлуке, когда никто не приходил крикнуть через решетку: «Толь! Здравствуй, Толь!», он понял, как она ему нужна, как воздух, как небо.

— Скажи мне всю правду, одну правду,— просил он, когда они снова

увиделись перед его ссылкой в Сибирь.

— Я скажу тебе правду, Толь! Ты хороший. Может быть, самый лучший. Я не знаю человека лучше тебя! Но мы из разных миров. Я скрывала от тебя, что я из чуждого класса. Разве ты можешь назвать женой девушку из такого чуждого, непонятного тебе мира, темного и алчного! Мой отец торговец. Он хочет наживать. Нажива — смысл его жизни. Он ненавидит все, во что веришь ты. Ты всегда будешь помнить это. Это всегда будет как бездонный ров между нами. Но там мое детство, мать, я оттуда... Разве можем мы быть вместе, Толь? Нет.

Она ушла.

Ванеев всю ночь писал ей письмо. Рассудительно, трезво, стараясь ее убедить.

«Голубчик мой. Неужели ты думаешь, что сословные предрассудки могут изменить мое отношение к тебе? Ты не могла бороться со своим социальным происхождением. Разве мы отвечаем за него? Я заклеймил бы печатью презрения всякого, кто увидел бы в твоем прошлом что-то позорящее тебя. Пройденная тобой школа еще более возвышает тебя в моих глазах. Она ручается мне, что я найду в тебе лучшего товарища в той беспощадной борьбе, которой я посвятил свою жизнь. Если ты нашла в себе достаточно энергии, чтобы разбить семейные цепи, гнет которых тяготел на тебе с детства, то борьба с рабством общественным не может уже устрашить тебя. А это единственное требование, какое я ставлю подруге моей жизни...»

Прошло три года. Она подруга его жизни, жена. Скоро станет матерью. Ванеев вспоминает ту ночь, когда он писал ей и каждая буква в его письме звала и молила ее и он не знал, что она ответит.

...Багряный шар солнца за окном, пересеченный, как стрелой, дымчатым облаком, коснулся горизонта и стал медленно уходить за черту. Последнее время на Ванеева вечерами необъяснимо налетала тоска. Он беспокойно приподнялся на локте. Где Ника? Он не любил вечерами оставаться один. Что-то душное наваливалось на него, что-то грозило, подкрадывалось. В окно уже глядели сумерки... Он хотел крикнуть Нику, но в дверь постучали.

Быстрой, знакомой с Петербурга походкой вошел Владимир Ильич. Внезапно ослабев, Ванеев опустился на подушку. Пока Владимир Ильич шел к нему от порога с выражением встревоженной доброты на лице, Ванеев глядел на него без улыбки, с почти суровой серьезностью.

— Здравствуй, дорогой, дорогой Анатолий! — сказал Владимир Ильич, обеими руками беря его руку и крепко держа.

— Я знал, что ты приедешь,— ответил Ванеев.— Знаю, вы из-за меня сюда приехали все в даль, в Ермаковское.

14

Надежда Константиновна и Зинаида Павловна Невзорова рано собрались на другое утро к Ванеевым. Доминику они знали еще в те времена, когда все были членами петербургского «Союза борьбы» и учительницами в вечерних рабочих школах. Три подруги. У каждой своя и общая у всех трех судьба. Они сами избрали ее. Избрали дорогу, которая привела их в ссылку, в Сибирь, и сулила впереди еще ссылки, тюрьмы, лишения, эмиграцию, жизнь вдали от родины, труд. О, как много нужно труда, чтобы подготовить для родины революцию! Они участвовали в труде для революции. Каждая в меру таланта и сил, молодые, привлекательные женщины, собравшиеся в то августовское утро у Доминики Ванеевой...

Вскоре присоединились две Ольги. Досталось двум Ольгам в эти дни

с устройством обедов и ночлегов для гостей! Похозяйничали, можно сказать, до упаду, а теперь, сняв фартуки, выкинули из головы бытовые и домашние мысли. Хотя разговоры пока велись на обыкновенные темы, настроение у всех, чувствовалось, особенное.

Надежда Константиновна в окружении подруг, не нарадуясь встрече, все чаще поглядывала в сторону Владимира Ильича. Он один стоял у окна, с ушедшим в себя, таким знакомым, чуть прищуренным взглядом. Собирается с мыслями.

«Хороший у нас народец, Володя, понятливый»,— подумала Надежда Константиновна.

И он думал об этом. Хороший, верный революционным задачам «народец»! С какой охотой все съехались, только он дал знак, в село Ермаковское! Раз требует дело — они здесь и сейчас вместе решат окончательно, как им отвечать на кусковское кредо. Отвечать ли?

Он любил товарищей глубокой и сильной любовью. Глеб Кржижановский у постели Ванеева рассказывает что-то. Ванеев беззвучно хохочет. Печально живет последнее время наш милый Ванеев, пусть забудет о своей беде, посмеется. Глеб кого хочешь развеселит. Что всего более дорого в Глебе? Талант — вот что в нем особо красиво и дорого! Талантлив! В работе, в шутках, в жизни, в дружбе — во всем. Когда мы победим, революции необходимы будут таланты. Нельзя представить, чтобы революцию делали ограниченные, унылые люди...

Оскар Энгберг. Свой, шушенский. Э! Мы принарядились ради сегодняшнего случая, Оскар Александрович. Мы праздничны, выбриты, как всегда ровненький у нас левый пробор, аккуратны усики и как мы строго настроены в ожидании обсуждения кредо! Мы неразговорчивы, но твердо знаем, на чьей стороне. Не на стороне кредо.

Вон товарищ Оскара Николай Николаевич Панин, рабочий с тонким лицом Гаршина, с гаршинской скорбинкой в глазах, выросший в наше время, с нашим движением. А уж кто безусловно рабочий нового типа,— это Шаповалов! Владимир Ильич очень симпатизировал ему, особенно после того, как однажды попал к Шаповалову в гости. Одним прекрасным утром, получив разрешение волостного начальства, они с Надеждой Константиновной сели в двуколку и без долгих сборов покатили в село Тесинское проведать ссыльных товарищей, в первую очередь Ленгника, с которым у Владимира Ильича постоянно велись философские споры. Путь дальний, глухой, через тайгу, но Владимир Ильич, хотя и без опыта, смело правил конем — с дороги не сбились, приехали.

Навестили и петербургского слесаря Александра Сидоровича Шаповалова. Шаповалов был членом петербургского «Союза борьбы», но познакомились они только в ссылке и как обрадовались, увидя в скромной комнатушке ссыльного рабочего заваленный книгами стол! Умник Шаповалов! Как читает Маркса. Конспекты, целая гора исписанных тетрадей. Да он весь «Капитал» проштудировал! И стихи. Лермонтов, Некрасов. Любит стихи! А это что? Немецкий словарь. Переводит с немецкого «Коммунистический Манифест», молодчина! Именно такие рабочие, образованные и думающие, как петербургский слесарь Александр Сидорович Шаповалов, нужны нашей партии. Как хорошо, что их все больше...

Владимир Ильич встретился взглядом с Надеждой Константиновной. Она улыбнулась ему глазами,— прочитала его мысли, вместе с ним порадовалась; какое это счастье — понимать друг друга без слов!

С невольной гордостью он подумал, глядя на нее и ее подруг: «Наши жены. Хороши, умны, образованны. Любят искусство, музыку. Отка-

зались от всего для революционного дела. Наши жены и товарищи. Наши декабристки».

Все эти мысли и благодарная любовь к товарищам нахлынули на него в те короткие минуты, когда он один стоял у окна.

— Товарищи, пора, откроем собрание,— сказал между тем Лепешинский.

Лепешинский — ермаковец, хозяин, ему и пристало объявлять начало собрания.

— Кто председатель? Ульянов. Голосуем. Единогласно. Владимир Ильич, займите председательское место.

Лепешинский и Сильвин заранее притащили стол, табуреты, скамьи. Расставили. Сели, чтобы не загораживать кровать Ванеева, чтобы он был прямо против председательского места.

Кредо уже читано и перечитано всеми. Поработала Надежда Константиновна: переписала по числу участников сбора. Все знали кредо. Всем ясно: кредо зовет рабочих прочь от марксизма, уводит рабочий класс от революционных битв и революционных задач. Кто-нибудь из семнадцати политических ссыльных, собравшихся в этот августовский день 1899 года в сибирском селе Ермаковском, соглашается с кредо? Никто. Что же нам обсуждать?

Обсуждение началось еще вчера у Лепешинских. Сегодня, чтобы участвовал наш Анатолий, перебрались к Ванееву. Что кредо — вздорная и злая ложь об европейском и русском рабочем движении, на этом сошлись все.

— Вздор с важничающими фразами! Жалкий набор бессодержательных слов! — говорил Владимир Ильич.

Но если это фразистое сочинение столичной дамы пустая мелочь и вздор, стоит ли и внимание на него обращать? Кто-то злобствует. Назовем кого-то Кусковой плюс супруг ее и единомышленник, помещичий сын Сергей Прокопович, плюс дватри дворянских студентика — вот и все создатели кредо. Объявлять бой крошечной группке, которая не имеет и не будет иметь никакого влияния? Зачем?

Примерно такие мысли высказал Фридрих Вильгельмович Ленгник. Они спорили с Владимиром Ильичем о философии каждую встречу. Спорили в письмах. Из села Шушенского в село Тесинское и обратно слались почтой десятки мелко исписанных страниц, полных ума, доказательств, блеска и яда. Немало усилий потратил Владимир Ильич, чтобы обратить в истинную марксистскую веру сурового на вид человека с черной бородой, черными мрачными бровями, из-под которых внимательно взирали на мир угольной черноты глаза.

Владимир Ильич уважал ум, знания, честность Фридриха Ленгника и в спорах о философии неизменно припирал его к стенке. С Ленгником стоило спорить.

— Итак, объявлять ли бой?

Владимир Ильич ухватил пальцами проймы жилета, остро прищурил глаза. Резче прочертились морщинки к вискам.

Он никогда не говорил округло и размеренно.

— Стоит ли объявлять бой? Марксистское рабочее движение в самом начале. И уже народились противники в среде социал-демократов. В Германии опасный противник, критик марксизма Бернштейн, неоригинальный, трусливый. Опаснейший. Чем пошлее и трусливее проповедь, тем легче находит последователей. Проповедь Эдуарда Бернштейна — экономизм, как зараза, ползет по Европе. Проповедь его — оппортунизм, то есть, господа хозяева, давайте нам маленькие реформочки, мы сами удушим свою революцию. Вот что значит оппортунизм! Наша российская Кускова и иже с ней всего лишь позорные повторители экономизма и оппорту-

низма Бернштейна. Оппортунизм растет. Сбивает рабочих с пути. Вступать ли нам в борьбу? Непременно! При любых обстоятельствах. Если не хотим потерять революцию.

«Так, Володя!» — взглядом подбодрила Надежда Константиновна.

Она привыкла делить его планы, вникать во все его замыслы, и его сегодняшняя речь задолго до ермаковского сбора была ей известна, но все равно она волновалась, горячее чувство любви, благодарности и гордости поднималось в груди.

В ссылке Владимир Ильич стал ей еще ближе. Она узнала его простоту и сердечность. Никогда, никогда он не бывал сухим и равнодушным, никогда ни с кем не был небрежным. Всегда внимательный, добрый, заботливый. Яркий, неожиданный. Бесконечно интересно ей с ним!

Но всякий раз, когда видела и слышала его на революционной трибуне,— пусть эта трибуна дощатый стол в избе Ванеева,— его энергия, сила, предвидение, доводы, его воля и талант заражали, покоряли ее снова!

«Я счастлива, что всегда с тобой,— повторяла про себя Надежда Константиновна.— Счастлива, что у нас одна цель, одно дело, что моя помощь нужна тебе».

— Дайте мне слово,— попросил Ванеев, вытягивая руку, сам весь подаваясь вперед.

Доминика приподняла подушки, чтобы он лег повыше. Он полусидел, у него раскраснелось лицо, он был молод и одухотворенно красив!

— Шесть лет назад мы, петербургские студенты, Глеб, Миша Сильвин, Зина Невзорова, ты, Старков,— все мы читали Карла Маркса, запершись для конспирации в собственных комнатах. Приехал Владимир Ульянов. Поставил задачу: не сидеть по комнатам запершись надо, а идти к рабочим, вооружить рабочий класс революционной наукой, марксизмом, и тогда разбудятся непобедимые силы. Что это? Предвидение? Да. Мы должны предвидеть. Кредо опасно. Кредо — первый шаг российского оппортунизма. Если не остановим, будет второй, третий, десятый. Надо остановить. Мы обязаны не дать оппортунистам расшатывать революционные силы! Надо суровее их осудить. Еще суровее...

— Я согласен,— коротко сказал Фридрих Ленгник.

— Кроме того, что важно,— обращаясь к Ванееву, а говоря всем, снова заговорил Владимир Ильич,— важно заявить, что мы и наше направление, хоть нас и сослали в Сибирь, не умерли и не собираемся умирать, а, наоборот, собираемся жить и действовать...

Говорили Шаповалов, Кржижановский, Лепешинские, каждый хотел высказать свое слово согласия, и Владимир Ильич первым подписал протест против кредо.

Протест начинался так:

«Собрание социал-демократов одной местности (Россия) в числе семнадцати человек приняло единогласно следующую резолюцию и постановило опубликовать ее и передать на обсуждение всем товарищам».

Владимир Ильич подписался первым и, взяв лист и чернильницу, подошел к кровати Ванеева. Ванеев медленно, крупно вывел свою фамилию вслед за Ульяновым.

Когда «семнадцать социал-демократов одной местности» разъедутся по селам и займутся обычными своими делами, Владимир Ильич и Надежда Константиновна однажды вечером, тщательно занавесив окна шушенской комнаты, зажгут лампу с зеленым абажуром и химическим способом несколько раз перепишут протест социал-демократов. Запечатают в письма. Сельский почтарь перешлет письма с очередной почтой в Туруханск, Вятку и другие места, где есть политические ссыльные, с которыми шушенцы держат связь.

Так было решено и постановлено на сборе в селе Ермаковском. На одном из конвертов будет адрес: «Подольск, А. И. Ульяновой-Елизаровой». Обычное письмо с подробным описанием шушенского житья-бытья, с приветами, расспросами: «Как у вас? Здорова ли мама?»

Анна Ильинична прочитает письмо, знакомо подписанное «Надя», и по условным, известным только ей знакам поймет: надо здесь искать «химию». И тоже плотно занавесит окно и проявит «химию». Они сойдутся к вечернему чаю в столовой комнате — она, Митя, Маняша, Марк Тимофеевич, мама. У стены на длинных шнурах подвешена книжная полочка. На полочке книги Владимира Ильича «Экономические зтюды» и «Развитие капитализма в России», изданные легально в типолитографии Лейферта. На черном пианино с барельефом Моцарта раскрыты ноты.

Анна Ильинична будет негромко читать: «Собрание социал-демократов одной местности...» Мать будет внимательно слушать, несгорбленная, сдержанная, и только сухонькие узкие руки, теребящие бахрому скатерти, может быть, выдадут ее беспокойство, которому нет конца. Когда Анюта кончит читать, мать скажет:

— Как виден Володин стиль!..

Потом протест против кредо отправится среди других писем, посылок, бандеролей в почтовом вагоне за границу и будет издан на русском языке в заграничном издании, в сборнике Г. В. Плеханова. И вернется на родину. И переписанный или тайно отпечатанный на гектографе или в своем заграничном виде разойдется по всем городам, где только есть рабочие и марксистские группы. И рабочие социал-демократы, революционеры поймут: где-то есть центр нашей политической жизни, где-то ярко бьется политическая мысль, зреют революционные планы, поднимаются могучие силы. Где?

Разве мог кто подумать, что зтот центр, зти зреющие силы и планы в далекой Сибири, в неведомом никому селе Шушенском?

15

— Оставь меня, пожалуйста, здесь, в зтой комнате,— попросил Ванеев жену. Он лежал у окна.

После вчерашнего возбуждения он был в страшном упадке сил. Он лежал, закрыв глаза, с бледным лицом, похожим на барельеф из мрамора, если бы не оживляла его улыбка, тихая и какая-то кроткая, от которой подрагивали веки. Доминике хотелось кричать от этой улыбки с закрытыми глазами, но она вспомнила его вчерашнее выступление, очень пришедшее на помощь Ульянову, и, кусая кромку платка, молчала.

«Не боюсь ничего. Никакие невзгоды не сломят. Только бы он жил».

Владимир Ильич так и застал ее на крыльце, с закушенным платком, с резкой складкой между бровей. Он нарочно сильнее зашаркал ногами по тропке, чтобы вывести ее из задумчивости.

— Вы приводите к нам в дом надежду,— сказала Доминика Васильевна.

Владимир Ильич склонился и поцеловал ей руку. Он никогда никому не целовал руки, только матери.

Ванеев узнал Владимира Ильича по шагам, и, пока он брал табурет, усаживался возле кровати, Ванеев, как в прошлый раз, глядел на него пристальным и внимательным взглядом, но светлым и сияющим.

Легкий ветерок залетел в раскрытое окно. Белые облака плыли в небе. «Тучки небесные, вечные странники...» Дома, в Нижнем, так же плывут над Волгой облака. С высокого откоса видны заволжские луга с раскиданными по ним голубыми озерцами. Голубая шестидесятиверстная даль... Голубые леса на

горизонте. Неоглядная ширь, плавные линии, тихие, спокойные краски — стоишь очарованный, весь охваченный счастьем. Моя величавая Волга с заливными лугами, мои деревеньки вдоль берегов, ласточкины гнезда по глинистым обрывам, несравненная родина, любовь моя!..

Ванеев нетерпеливо заговорил, словно боясь, что не успеет вылить все, что есть у него на душе, в чем-то бесконечно важном открыться, а нужно успеть, нельзя уносить с собой... Боже! Что ему лезет в голову, какой мрак туманит глаза. Не позволять себе! Не сметь! Он потому торопится, что Владимир Ильич сейчас уезжает, вон колокольчики слышны, а когда-то теперь случится увидеться, дело к осени, оттого он спешит...

— Мне кажется иногда, что я много-много прожил на свете. И в самом деле, двадцать семь лет — разве мало? Лермонтову и двадцати семи не было. А Чернышевский в эти годы уже создатель смелых исследований в критике. А Маркс! Уже философ, материалист, революционер, взрывающий старье в философии. А ты, Владимир, каким был в двадцать семь лет! Нет, не останавливай меня, я и не сравниваю, я просто говорю, я, может, после-то и не признаюсь никогда, сколько ты значил для меня, потому что ведь это под настроение только бывает, когда признаешься...

У меня с детства были самые высокие мысли о дружбе. Мечтал! Ночами не мог спать до рассвета, до слез все представлял, какой у меня будет лучший друг и товарищи и как я жизнь за него отдам; я все жизнь отдавал... Ни с какими мечтами не сравнить, что я тогда в Петербурге встретил! Я обыкновенный человек, только твердый, я сам знаю, что я в убеждениях твердый. Но обыкновенный. А жизнь моя сложилась необыкновенно оттого именно, что я в Петербурге вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вся жизнь моя из-за этого стала особенной.

Вот я думаю, когда нас давно не будет на свете, историки подивятся, как это стать могло, чтоб в огромной казенной столице — против Зимнего дворца Петропавловская крепость, вбок подале для политических Дом предварительного заключения, еще подале Шлиссельбургская крепость,— в этой столице, каменной, полной жандармских и гвардейских мундиров, такое большое и новое рабочее движение поднялось.

— А все оттого... вот ты говоришь, Анатолий... ведь это закон развития, ведь русский рабочий класс созрел...

— Удивятся историки, будут исследовать нашу петербургскую эпоху. За два с половиной года поднялось марксистское рабочее движение. Ужасно как хочется жить! Со вчерашнего дня волна жизни накатила на меня, подняла, понесла и понесет, не кинет на дно... Хочу громадного счастья, громадной работы!

— Будет громадная работа, будет громадное счастье! — заговорил Владимир Ильич тоже нетерпеливо, и тоже слова его вырывались из сердца. — Осталось нам ссылки пять с немногим месяцев. Виден конец. Надо дотянуть. Разумно и расчетливо дожить эти пять с немногим месяцев, чтобы не прибавили срока, но прибавка не предвидится, кажется. А там... Милый Анатолий, надо тебе выздороветь, напрячь все усилия... Слушай, попробуй пить парное молоко. Как можно больше, от молока толстеют, тебе надо потолстеть, вернемся в Россию, там тебя прочно поднимут на ноги, и тогда... Анатолий, я откровенен. С тобой не надо держаться настороже, ты не болтун. Помню, мы были в Питере квалифицированными конспираторами, ты был Мининым, так вот, милый Минин, какая работа ждет нас, хочешь знать?

— Хочу.

— Партию объявили без нас. Мы были в тюрьмах и ссылках...

— Мы подготовили партию.

— Но мы были в тюрьмах и ссылках, когда в Минске был Первый съезд. Партия не успела встать на ноги, как ее стали губить, налетел ураган: аресты, аресты. С другой стороны разные немецкие бернштейны и русские кусковы. Что делать нам? Бороться за создание партии, истинно пролетарской. Вот что делать нам прежде всего. Мы объявили это вчера в нашем протесте. Анатолий, как нам дальше бороться?

— Ну, говори скорей!

— Как нам бороться? Я думаю целые дни напролет, думаю, думаю, обсуждаю со всех концов и сторон, и, Анатолий, я уверен: путь один. Единственный. Создать газету! Как только мы вернемся из ссылки, тотчас надо создавать газету. Нелегальную, конечно! Мы будем выпускать ее за границей. А здесь, в России, в каждом промышленном центре — в Орехове, Иванове, Ярославле, Баку, Киеве, Нижнем, не говоря уж о Питере и Москве,— у нас будут агенты по распространению нашей газеты, наши тайные корреспонденты, с которыми у нас будет неразрывная связь. Мы будем через нашу газету раскрывать рабочим все, что происходит в России, агитировать и звать всех рабочих, крестьян и передовую интеллигенцию к революционным боям. Мы создадим новую, революционную, пролетарскую партию с помощью нашей газеты. Слушай, Анатолий... Многие, слишком многие погублены проклятым режимом. Декабристы, народовольцы, десятки тысяч лучших рабочих. И у нас были и будут жертвы, но мы победим...

С белых подушек на него глядело лицо. Прекрасное, с глазами василькового цвета, исполненными восторга и жизни. В душе Ванеева вновь толпились надежды. Снова этот человек, его удивительный товарищ, открывал ему путь. Дерзостно смелый, реальный и практический. «Мы еще в ссылке. Но мы уже знаем, что будет дальше. Газета. Партия. Революция. Новое общество. Мы будем строить наше новое общество добрым, благородным, разумным! Если оно не будет разумным и добрым, если подлость и чванство останутся в нем — кто виноват? Вы, будущие жители нового общества, знайте, мы хотим вам добра! Вы, кто будет жить в этом обществе, помните, помните, оно отвоевано нашей работой и кровью. Будьте смелыми, будьте добрыми, люди, будущие жители социалистического общества!»

Так думал Ванеев, мечтатель! Теперь он не мог и не хотел быть просто учителем или просто литератором. Он мог быть революционером, революционером прежде всего!

— Необходимо подумать о том, какое название дать нашей газете,— сказал Владимир Ильич.— Важно, чтобы уже в названии заключалась идея. Знаешь, Анатолий, я так много думаю о нашей газете, так много и, чем ближе к концу ссылки волнуюсь и нервничаю, надо взять себя в руки, ведь весь труд впереди. Я предлагаю назвать «Искра», как ты смотришь?

Он ближе придвинулся к Ванееву, острый огонек блеснул в его взгляде. Владимир Ильич давно обдумал это название. Хорошее название, емкое, с политическим и вместе прелестным поэтическим смыслом, Владимир Ильич был доволен.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

— Мы с Надей поклонники Пушкина,— говорил Владимир Ильич.— Нет, не то слово. Трудно представить, как жить без Пушкина. Нельзя жить без Пушкина и Бетховена, хотя иногда приходится надевать на себя узду и отодвигать в сторону и Бетховена и Пушкина. Здесь, в Сибири, даже в нашем захолустном Шушенском, чувствуется дух декабристов.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода...

Я с юности себе представлял: Чита, ураганные ветры, мороз, леденящий дыхание. Частоколы лагеря, декабристы в оковах. И ослепительное послание Пушкина. И ответ...

— И ответ! — перебивая, повторял, торопился Ванеев:

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя...

— Итак, «Искра», Анатолий! Из искры возгорится пламя. Ну, мчись скорей, время! Но будем расчетливы и благоразумны, осторожно переживем оставшиеся месяцы, пять с немногим, лишь бы не вышло прибавки. Поправляйся, Анатолий, дорогой, умный друг! Не поддавайся болезни. Очень важно не поддаваться. У нас громадный труд впереди. У нас впереди наша «Искра» и партия. Партии нельзя без таких людей, как ты, Анатолий. Ты нужен партии и рабочему классу, милый друг Анатолий!

Он пожал ему руку. Поправил на нем одеяло. Отвел со лба у него тяжелую, влажную прядь.

...Опять поплыла лодка. Последнее время, едва он закрывал глаза, его качало и уносило в лодке вдоль крутого берега Волги. Суетливо снуют вокруг лодчонки; медлительный, важный паром отчаливает от пристани, направляясь на ту сторону с десятком телег и стаей баб в разноцветных платках, приезжавших в город торговать лесной малиной и грибами; белый пароход фирмы «Кавказ и Меркурий» идет снизу, бархатный звук гудка задумчиво виснет над Волгой. Покатится к берегу от парохода волна, и лодка ухнет, падая с гребня...

— Толь, родной мой!

Он открыл глаза. Ника.

— Тебе не плохо было, Толь, милый? Мне показалось... Какая я глупая, ты просто уснул.

— Я не спал. Они уехали? Важные дни были у меня! Я снова понял, Ника, я нужен, а это живительнее всяких лекарств. Вот увидишь, как скоро теперь пойдет у меня на поправку. Я хочу участвовать в наших планах. Скучно, противно жить, только заботясь о себе да о своем здоровье. Верно? Я весь захвачен...

— Давай я посижу с тобой, Толь. Я очень люблю тебя, Толь. Жить без тебя не могу.

Он улыбнулся и, вытянув руку, бережно притронулся к ее животу.

— Скоро наш малыш появится на свет. Нас будет трое. Что я хочу попросить тебя, Ника. Если родится мальчишка...

— Я уже сама давно решила. Если родится мальчик, у меня будет два Толя. Большой Толь и маленький. Так я буду вас звать.

— Хочется услышать его голосок.

— А если он будет орать по ночам?

— Пусть орет. К тому времени я поправлюсь, станем по очереди нести вахту. Ника, Владимир Ильич основательно зарядил меня жизнью! Я люблю, когда ясно и прямо знаешь, куда тебе идти и что делать. Возможно, наш маленький Толь будет жить при других обстоятельствах. Скорее бы он появился.

— Хочешь послушать? — спросила Доминика, беря его руку и положив себе на живот.— Слышишь, как тукает у него сердечко?

Ванеев не слышал, но морщил брови, с радостным видом напрягаясь и стараясь показать, что слышит, как оно тукает. И сразу устал.

— Посиди со мной, Ника. Я чуть отдохну.

Он лежал с открытыми глазами, чтобы не качало, не уносило.

— Слушай-ка, Ника, достань у меня под подушкой...

Она просунула под подушку руку, достала Чехова, сборник «Пьесы», СПб., 1897 г.», присланный недавно из Нижнего.

— Прочитай мне то место, там отчеркнуто...

Она открыла заложенную страницу и стала читать:

— «Мы услышим ангелов, мы



увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут...»

— Ну, довольно. У тебя какой-то стиснутый голос, ты волнуешься, тебе скоро родить, тебе нельзя волноваться, голубка моя. Хочешь, пофантазируем? Я вижу не нынешнее село Ермаковское, где псы за заборами воют да кучи навоза гниют у дворов, веточки во всем селе не найдешь, иди за веткой в тайгу. Вижу другое село Ермаковское. Там большой яблоневый сад. Зацветет, будто на несколько верст разлилось белое море. Пчелиный хор гудит... А осенью выйдешь рано утром, сад весь обрызган росой, за ночь под яблонями нападали румяные яблоки...

Он закашлялся отрывистым кашлем. Темная струйка крови вытекла изо рта и окрасила белую рубашку. Тоска темно поглядела из глаз.

— Мой Толь, мой большой Толь! — лепетала Доминика, вытирая струйку крови у него возле рта.— Ты поправишься, все пройдет, ты поправишься, Толь, ты поправишься!

Она твердила, как заклинание: «Все пройдет, ты поправишься...» Вдруг черная молния ворвалась в раскрытое окно и стремительным зигзагом прочертила из угла в угол комнату. И исчезла.

Доминика вскрикнула и, упав лицом в ладони, зарыдала громко, навзрыд.

— Не пугайся, Ника, голубчик, зто стриж залетел. Это, наверное, стриж.

Она не могла унять рыданий, вся тряслась, закрывшись ладонями. Он печально повторял, утешая ее:

— Ника, не плачь. Ника, не плачь.

16

Владимир Ильич стоял у конторки, заложив большие пальцы за проймы жилета,— сентябрь начинался холодом, ветрами. Саяны кутались тучами, обмелевшую за лето Шушу хмурила серая рябь, было зябко, и Владимир Ильич с утра утеплился жилетом, намереваясь работать до обеда. Работа до крайности была важная: он обдумывал проект Программы Российской социал-демократической партии, делал наброски. Он был в том состоянии полнейшей сосредоточенности, полнейшего погружения в мысли, когда мог не заметить, если бы вдруг за окном разгремелась гроза.

Но присутствие Надежды Константиновны, которая писала тут же за столом, он все время чувствовал и был рад, что она здесь, в комнате, что милое ее лицо как-то особенно ясно сейчас и задумчиво. Надежда Константиновна писала брошюру о женщине-работнице. Материалы для зтой брошюры она собирала еще в Питере, когда ходила по фабрикам, вела пропаганду среди рабочих. Особенно помнилась фабрика Торнтона на том берегу Невы, за Невской заставой. Как тяжко, невыносимо тяжко было ткачихам на фабрике Торнтона! Гасла молодость, сохло тело, увядала душа, кажется, еле теплилось само желание жить. Мучительно двенадцатичасовое стояние за станком, без отдыха, в душных, сырых помещениях. Болит от пыли грудь, глаза гноятся. Страшная жизнь! Женщины-работницы! Ничто вас не спасет, ничто, боритесь с проклятым самодержавным строем. Вступайте в борьбу!

Надежда Константиновна хотела написать об зтом просто, понятно. Очень понятно, очень убедительно! Именно для работниц она писала свою брошюру. Она видела перед собой их истомленные лица и потухшие, без блеска глаза. Страдала их болью. Ненавидела зксплуататоров-фабрикантов, о своей ненависти хотелось ей написать жгучими, разящими словами. Слова приходили не сразу. Она переписывала по многу раз каждую страницу, конец был не скор, но она всей душой отдавалась

работе. Наверное, книжка ее будет полезна революционному делу, а только об этом она и мечтала. Еще ей было очень приятно, что Владимир Ильич одобрял ее замысел.

Так прошел час, другой в сосредоточенной тишине, только слышалось поскрипывание перьев.

Но вот в дверь негромко постучали. Надежда Константиновна кинула взгляд на Владимира Ильича. Углубленный в мысли, он не услышал стука. Она оставила рукопись и вышла.

— К Владимиру Ильичу за советом,— сказала Елизавета Васильевна.

Пошептались, как быть. Жалко отрывать Владимира Ильича от работы, а что делать? Старик больше тридцати верст прошагал осенней дорогой — не отсылать же обратно. Владимир Ильич не отказывал приходившим в любое время крестьянам. Старика впустили. Он вошел, держа завязанную в кумачовый платок кринку. Поискал икону в углу, не нашел и поспешным крестом закрестился на окно, за которым шатался от ветра осенний жиденький куст и виднелись Саяны, задернутые клубящимся занавесом туч.

— Садитесь, пожалуйста.

Старик пугливо моргнул и опустил сначала на пол у табурета кринку в кумачовом платке. Владимир Ильич стоял возле конторки, всунув пальцы за проймы жилета, и, слегка склонив голову набок, слушал рассказ старика. Он был еще не старик. Если присмотреться внимательнее, оказывалось, что его борода и остриженные скобкой волосы не седы, а выцвели от солнца, что морщины на лице не от лет, а, должно быть, от тяжелого труда и заботы. На нем была холщовая рубаха без пояса и стертый армяк. Его звали Сидором Марковичем.

— Продолжайте, Сидор Маркович, — подбодрил Владимир Ильич.

Сидор Маркович рассказывал долго, моргая и отводя в окно слезящийся взгляд.

— Лошадные мы, не скажу, что кругом бедняки, нынче молотьба, баба моя с кобыленкой нашей на помочи у брательника, они нам, мы им,— в крестьянстве без помочи нельзя. А я пешочком собрался, мне нипочем, я и полста верст за день отмеряю в летний-то день. По осеннему времени с ночевкой надо рассчитывать, туда-сюда не обернешься до ночи, там, гляди, погода задует, с Саян неурочно понагонит метели, в нашей местности, случалось, под самым двором до смерти заблудятся, а мне семерых мал мала меньше сиротить неохота.

Он никак не мог подобраться к сути вопроса, все кружил около, но Владимир Ильич не торопя выслушал дело мужика. Дело было вот в чем. Старшую дочь Сидора Марковича, девицу Анфису, восемнадцати лет, отец с матерью отпустили в работницы к богатому мужику в их же деревне за двадцать целковых в год. Девка просватана, а приданое плохонькое, сряду захотелось справить кой-какую, сама отпросилась в работницы. Жених подходящий, хозяйство у будущего свекра не так чтобы слишком завидное, однако не бедствуя можно прожить, ежели в будние дни не сидеть на завалинке. Все вроде бы как по маслу шло для Анфисы, уже и свадьбу назначили в воскресенье после покрова дня сыграть, да вдруг неделю назад прибежала от хозяев Анфиска, как холст белая, без лица. Заперлись с матерью в чулане, ревут. Отец вокруг чулана и так и сяк ходит и постучит. Напрасно, однако...

Пастух стадо пригнал, тогда отперлись. Анфиска ужинать не садится, платок на брови спустила, темнее ночи. Захолонуло у отца сердце — беда! До беды не дошло, а рядышком было. Не стадо Анфисе проходу от хозяйского парня. Подстерегает по темным углам, она и

по-доброму и худым словом отказывается, нет на хозяйского сына управы, только что не насильничает, а грозит... Прибежала девка спасаться домой. Месяц оставался до срока, в покров день как раз сровнялся бы год, а она убежала, а они — уговор нарушила, не будем платить. Выходит, одиннадцать месяцев задаром работала девка?

— Да-а-а, — задумчиво сказал Владимир Ильич и медленно прошелся от конторки вдоль комнаты, мимо окна, где Надежда Константиновна прислонилась плечом к раме, слегка откинув голову, оттянутую тяжелой, великолепной косой.

— Что «да»-то? — испугался мужик. — Задаром, значит? На приданое девка старалась. Одного месяца не дотянула. А как и тянуть-то? Дотянешь, пожалуй. Жених-то узнает, он парень честный, они по любви сосватались, он ее дожидается, он, как узнает, изувечить от обиды может охальника, засудят его за увечье, навек себя с Анфиской несчастными сделает. Анфиске перед народом стыдно, и не виновата, а стыдно...

— Господи боже мой, да чего ж ей стыдиться?! — всплескивая руками, воскликнула Надежда Константиновна так горячо и отчаянно, что мужик с удивлением на нее обернулся, а Владимир Ильич бросил шагать.— Ей не стыдиться надо, она уважения заслуживает! Анфиса гордая, чистая девушка. И жених у нее благородный. Надо поддержать в них их чистоту и достоинство, ведь есть же правда на земле? Ты согласен, Володя, нельзя такой случай оставлять, такой возмутительный случай... Тут ее девичья честь, их молодое счастье, их человеческое право,— нельзя же бросить все на поругание и издевательство кулаку, нельзя, нельзя, нельзя! — повторяла она, крутя пуговку на рукаве. Оторвала и смешалась. Застенчивая в выражении чувств, она смутилась своего взрыва и сразу потеряла нить.— Володя, нельзя так оставить...

— Разумеется, нет.

Он подошел, притронулся к ее плечу, мгновение глядел на нее с выражением радостной и удивленной любви.

— Видать, вы люди-то ничего, промеж себя живете по-божески,— будто удивился мужик.

— А вот этого нельзя сказать, что по-божески, — круто повернувшись, с веселой искрой в глазах ответил Владимир Ильич. — Живем по-человечески. Итак...

Он шагнул к конторке, взял перо.

— Обратимся в суд?

Мужик ерзнул на табурете. На его задубелом от ветра лице появилось что-то тупо-испуганное.

— Не то,— сам себе ответил Владимир Ильич.— Обращаться в суд — значит, подвергать испытаниям стыдливость и самолюбие девушки. Почему ушла из батрачек до сроку? Потянутся подлые сплетни. Нет, в суд не будем пока обращаться. Но кулаку судом пригрозим... Паша!

Она влетела в эту знакомую, но чаще всего для нее закрытую комнату, где до потолка поднималась полка с книгами, а передний угол занимала конторка, та конторка, за которой писались сочинения о революционной борьбе, письма, планы, заметки, статьи, протест против кредо, за которой обдумывалась Программа Российской социал-демократической партии.

— Вот что. Я буду диктовать, а ты пиши,— сказал Владимир Ильич.

Она села к столу, взяла ручку с пером и с великой охотой ждала.

— Итак, Сидор Маркович, мы обращаемся в волостное правление и требуем, чтобы хозяина заставили оплатить выполненную работу, требуем защиты прав. да, именно прав...

— Э! — перебил мужик и мах-

нул рукой. «Зря я, видно, пришел, не найти мне для моей Анфиски помощи», — подумал мужик. — Э! — сказал он. — Разве они, в волостном правлении, станут из-за простой девки с богатым вязаться?

И снова махнул рукой, вовсе пав духом.

— Станут, — невозмутимо возразил Владимир Ильич. — Как еще станут, когда мы судом пугнем. Мы найдем юридическое обоснование подать на них в суд, мы им заявим, что в случае... Но, скорее всего, они не решатся доводить до суда. Итак, Паша, пиши. Отчего не я сам? Мой почерк им слишком известен. Заявление пишет отец, вернее, подписывает. Конечно, они догадаются, что кто-то, знающий законы, стоит за отцом. Так и нужно, пусть догадаются...

Владимир Ильич продиктовал первую фразу, заглянул Паше через плечо: круглые буковки старательно выстроились в ровную строчку.

— За чистописание ты, Паша, безусловно заслуживаешь пять, даже с плюсом...

Паша зарделась от радости.

А сторожившая, как всегда, у порога Женька подняла морду, навострила охотничьи уши и громко забарабанила об пол хвостом. Владимир Ильич распахнул дверь.

— Так и есть! Соседняя нам держава с дружественным визитом, а?

Леопольд перешагнул порог. Он был необычный, чем-то стесненный, не глядел прямо, прятал глаза.

— Здесь еще не прошло? — участливо усмехаясь, спросил Владимир Ильич, наставив палец прямо ему на сердце.

Леопольд вспыхнул. Он вспыхивал мгновенно, огненно, бурно. И мгновенно бледнел.

— Отец сказал про письмо. Если бы не вы...

— Милостивый государь, речь не о том.

— И о том... в первую очередь.

А о чем во вторую? Никто не знал, что на душе Леопольда. На душе у него лежала обида. Леопольда обидели. Кто? Владимир Ильич. В важный час, когда сзывают друзей, Леопольда забыли. Кто? Владимир Ильич!

Когда все поехали в село Ермаковское, Проминский-отец не поехал. Укутанный всеми заячьими шубками, нашитыми за зиму ребятишкам для дороги домой, отец трясся в ознобе, мать отпаивала его липовым чаем. Леопольд почти не уснул в эту ночь. Ворочался, надеялся, мучался. Вскочил до рассвета. Но его не позвали. Вдалеке он услышал бубенчики... Владимир Ильич мог бы сказать: «Наш молодой товарищ Леопольд Проминский безусловно будущий член нашей партии. Залезай в телегу, Леопольд, едем в село Ермаковское».

Ведь Леопольд знал, зачем они туда едут: подписывать протест против кредо. И отец подписал. Владимир Ильич вернулся из села Ермаковского, принес отцу протест для подписи. Отец поставил подпись: Проминский... А Леопольда не позвали.

Никому Леопольд не сказал про обиду. Ходил уязвленный и скрытный, пряча глаза. А, кажется, Владимир Ильич о чем-то догадывается.

— Ответа отцу еще нет? — спросил Владимир Ильич.

— Еще нет.

— Ну, садись, пиши. Вот что, Паша, голубчик, слишком девичий у тебя почерк для такой серьезной бумаги. Необходимо мужское перо.

Прошение получилось убедительное и ясно доказывало, что закон и правда на стороне убежавшей от насилия кулацкого сына Анфиски. Мужик вывел каракулями под прошением подпись, вспотел от пережитого, сложил вдвое бумагу, спрятал на дно шапки.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на гетмана-злодея
Царю Петру от Кочубея,—

прочитала Надежда Константиновна.

Мужик крякнул, поскреб затылок пятерней.

— Люди вы... будто и просты, а мудрены. А ничего не скажешь, душевные. Прими благодарность, хозяюшка.

Он поднял с пола кринку, завязанную в кумачовый платок.

— Что вы? Что вы? Да как вы надумали?

— А што? Чай, не задаром хозяин твой над бумагой мозги шевелил. Задаром-то кто рази станет стараться?

Владимир Ильич выступил вперед.

— Кто вам бумагу писал, не говорите никому. Ответят отказом, приходите еще за советом. Надеюсь, отказа не будет. Кринку свою забирайте, нам не надо, спасибо, несите домой. С ночлегом устроились? Погода неважнецкая, остерегитесь в дорогу пускаться. Завтра уж лучше с утра... До свидания. Желаю удачи.

— Счастья дочке! — вставила Надежда Константиновна.

Озадаченный мужик вышел в соседнюю комнату, неся в узелке кринку да крепко прижимая шапку с бумагой под мышкой. Снова задача. В соседней комнате он увидел у стола на деревянном диванчике пожилую женщину в белой кофточке. Дымя папиросой, женщина читала толстую книгу.

— И-их! Бабы-то рази курят? — не удержался мужик.

Она подняла от книги насмешливый взгляд.

— А со своим уставом в чужой монастырь не суются.

— Понагляделся я у вас, наслушался, не разберешься никак.

И, поведя головой на дверь, откуда вышел, опасливым полушепотом:

— Сын?

— Зять,— ответила Елизавета Васильевна.

— Строгонек зятек. Страху вам, чай, задает?

— Не без этого, когда заслужено. За дары, видно, досталось? — Она кивнула на кумачовый узелок у него в руке.

— Велики ли дары! Маслица коровьего накопили фунта, чай, с три, все и дары. Домой, говорит, относи. А зачем мне его домой относить, ежели оно для другой у нас надобности? Бумага писана? Писана. Должон я его отблагодарить? Мамаша, хоть ты прими, а?

— Не вводи в грех. Он как рассердится, из дому убегай. Я и сама рассердиться могу.

— Что ты скажешь, ни там, ни тут не подступишься! Чудные вы люди, дело-то сделано, вон оно, прошение-то, упрятано в шапке. После дела-то чего бы не принять благодарность-то, а?

— Не примем. И не кланяйся понапрасну. Не ровен час, зять услышит, будет нам с тобой.

— Ну, люди! Ну, спасибо вам, ну чудны, ну чудны! Спасибо. Прощайте покудова.

Надел шапку, приплюснул на затылке и ушел.

У Владимира Ильича все еще разговаривали. Надежда Константиновна стояла у стола. В окно дуло; обхватив себя за плечи, ежась от холода, она говорила:

— Гадкая история, гадкая, с этим кулацким сынком, кулацкой эксплуатацией! А девушка славная. И жених у нее непримиримый, прямой, и меня ужасно трогает его любовь и доверие. Так доверчивы только чистые люди, совсем чистые сердцем.

— Ты услышала больше, чем он рассказал,— заметил Владимир Ильич.

— Нет, Володя, он очень точно зто представил, как парень бросится защищать ее честь. И ведь ему, зтому парню, даже в мысль не войдет и подозрения не явится, что она в чем-то виновата, вот зто и есть прямота, это и есть доверие, а без доверия и прямоты нет любви, нет дружбы.

Владимир Ильич улыбался какой-то особенной ласкающей и доброй улыбкой. Наступила пауза. Леопольду представилось, все глядят на него. И ждут. А это он сам ждал от себя, хватит у него смелости или нет сказать прямо, что на душе.

— Владимир Ильич, я на вас обиделся,— сказал Леопольд.

И провалился сквозь землю. Зачем бухнул? Все-то он обижается, что ему делать с собой! Что теперь будет? Скажет Владимир Ильич: «Ну и ступай себе подобру-поздорову, если уж такой обидчивый. И дорогу к нам позабудь».

Но Владимир Ильич сказал совсем наоборот:

— Знаю, чем ты задет, Леопольд. Но ведь тогда у нас было сугубо партийное собрание. Нельзя было тебя звать. Ты должен понять, а не обижаться. У тебя еще все впереди...

— Батюшки светы! А обед-то без пригляду варится! — вскрикнула Паша и кинулась в кухню. Как на пожар. Она на всякую работу кидалась, как на пожар. К колодцу бегом, к печке бегом.

—...Ты напрасно обиделся, а что не затаил, открыто признался, это ты правильно сделал.

Услышав такие слова Владимира Ильича, Леопольд бормотнул что-то невнятное, вроде «я и сам так думаю», и скорее ушел вслед за Пашей, вернее, сбежал. Надо было ему побыть одному и во всем разобраться. Однако вместо того, чтобы побыть одному, он, проходя мимо печки, где Паша гремела ухватом, снова неожиданно для себя бухнул:

— Паша, выходи за дом к Шуше, буду ждать!

И выскочил на улицу, не опомнясь от того, что сказал. Не ожидал, что назначит свидание!

«Без прямоты и доверия нет любви, нет дружбы». Правда, правда! Как удивительно. А скоро совсем новое наступит для меня. Прощайте, Саяны! Вон вы какие ясные, чистые, ветром развеяло тучи, и вы стоите, облитые снегом и светом громады. А за громадами не конец земли, а воля. Владимир Ильич сказал: «У тебя еще все впереди». Поскорее наступай, мое «впереди»! Вот и осень. Земля твердая, стучит под ногами. Трава увяла. Падают листья с деревьев, все голее в природе, холоднее. Только отава зелена, и все равно видно, что осень, и Шуша осенняя торопится в Енисей, пока не замерзла, рябая от ветра, ветер гонит течение. Шуша, прощай.

Леопольда продувало насквозь, он поднял воротник и шагал по берегу. Вдруг она не придет? Сердце колотилось. Он никогда не думал о Паше, как сегодня. Он думал сегодня о ней как-то особенно. «Паша, приходи, скорее приходи!»

Она прибежала, когда он совсем закоченел.

— Ну что? Для чего кликал? Секрет, что ли, какой? Да ты весь замороженный. Иззяб? Да ты весь дрожишь, ой, Леопольд!

Она быстро бросала вопросы, и сквозь оживление и свет, брызгавший из ее глаз, прорывалось беспокойство.

— Секрет, что ли, какой?

— Секрет.

Как холодно. Он дрожал от холода.

— Скоро всем станет известен наш секрет. Что мы в Польшу уедем. Татусь сначала скрывал, а теперь не скрывает. Через месяц у нас кончается ссылка. А денег на дорогу нет. Владимир Ильич составил для отца прошение, чтобы нам на дорогу да-

ли денег; теперь недолго ждать, скоро будет ответ. Ты заметила, Владимир Ильич конспиративно об этом сказал, что речь не о том? А речь-то о том как раз, о прошении. Мы домой собираемся. Через месяц уедем в Польшу, домой.

Она молча слушала, оживление на ее лице угасало.

— Я во сне вижу Польшу каждую ночь. Поезд идет по Польше, и я вижу хуторочки, сады, старинные замки, рвы, деревни или маленькие города с черепичными крышами и костелы, высокие башни — это все Польша. Приезжаем в Лодзь. Там целый темный лес труб, целый лес! Красиво, что много труб тянется к небу и над ними лиловая туча, это дым от заводов, и вдруг вырвется красное пламя, и слышно, как стучат станки и... Паша...

Она, всхлипывая, вытирала кулаком щеки, пшеничная коса свесилась с плеча и качалась.

— Паша!

Он схватил ее руки и отвел. На него поглядело опечаленное личико с размазанными по щекам слезами.

— Паша... Татусь и матка тебя, как дочку, будут жалеть. Мы на завод с тобой в Лодзи поступим. Я тебя люблю.

Несколько секунд они стояли, пораженные тем, что он сказал.

— Люблю. Верно, люблю. Очень люблю. Всегда буду тебе доверять. Никому тебя обидеть не дам...

— А сам уезжаешь.

— Паша, ведь я там родился. Я поляк. А ты приедешь к нам в Польшу, к нам, навсегда. Мы работать пойдем. Будем рабочим классом. Революционерами будем.

— Как я своих-то оставлю? Мамку жалко.

— Мы позовем ее в гости к нам в Польшу. А Ульяновым все равно скоро ссылка кончается. Уедем отсюда, устроимся дома, напишем тебе. И вызовем тебя. У нас в Польше не такие крыши, как здесь, у нас черепичные крыши. Поглядишь, при дороге красные маки! А в Лодзи заводы, фабрики. И трубы, помню, как черный лес...

Она закрыла лицо концом платка, колеблясь и мучаясь. Странное видение манило ее: черные трубы, уходящие ввысь, лиловое небо, и толпа людей идет на грозное зарево, и Леопольд впереди толпы, с бледным лбом и пылающим взором, несет красное знамя. Такое видение представилось ей.

— Обещай, Паша.

Она не знала, что ответить. Грозное, странное, новое звало и страшило ее. Неужели Леопольд уедет из Шушенского? Как ей быть без него? Без их встреч, разговоров, его книг и рассказов о Польше? И Ульяновы уедут, ее дорогие хозяева! Нет! Лучше не думать об этом. Еще не скоро, долго еще. Лучше не думать. Не спрашивай меня, Леопольд! Что ты спрашиваешь? Иззяб, беги домой греться на печке, чудной Леопольд, зачем ты спрашиваешь?

17

Даже для Сибири осень рано наступила в этом году. Из Красноярска вышел вверх последний пароход. Опоздай Прошка немного, и тащиться бы ему в Енисейск или Туруханск или еще подальше на север, где уже сейчас с Ледовитого океана наползают снежные тучи, воя, несется по тундрам пурга, ночные заморозки до дна вымораживают лужи на дорогах.

Прошке повезло — отбывать ссылку определили ему не в северных краях, на последний пароход кверху успел и в этот хмуренький холодный денек выезжал на подводе с возницей вдвоем из города Минусинска в назначенное ему место. Про село, куда его высылали, Прошка

ничего не знал, кроме названия. А что в названии? Все незнакомо Прошке. Плоский одноэтажный город Минусинск с развороченной колесами грязью по колено на улицах и дорога, по которой они ехали,— все незнакомо. Дорога песчаная, сыпучая, и лошаденка, хоть и сытая, тужилась, мотая головой, и везла телегу упорным, нелегким шажком. Проехали сосновый бор, глухой, суровый, затихший, как перед бурей.

— Но, ты! — понукал возница лошаденку.

Лошаденка жилилась, мотая головой. Спуски да холмы. Широко видно вокруг. Пустынные степи. Черная тайга на горизонте. Ноет у Прошки душа. Чем дальше от дома, тем милее вспоминается прошлое. Дома-то у Прошки нет. Немного, наверное, найдется на свете таких одиноких сирот! Он молодой, будет и у него когда-нибудь свое счастье, а сейчас всю дорогу Прошке вспоминается подольская встреча с Ульяновыми.

За долгое последнее время это была его самая сильная и светлая радость. Анна Ильинична его спасла. Что было бы с ним, если бы в тот вечер она не выбежала к калитке? От голода и неправды, которая на него навалилась, он стал ненавидеть весь мир. Оскаливался на людей, как волчонок.

Ульяновы его спасли. Накормили, одели, обули, уложили спать на своей подольской даче на чистой постели. Оттаяли теплом своим ему сердце. Замерзало у него сердце, а они отогрели.

Анна Ильинична поглядела на другое утро его документ с печатью и подписями департамента полиции, посовещалась с родными. Родные решили:

— Тут у тебя написано число, когда надо под арест являться, а час не написан. Давай-ка отдохни у нас денек, еще насидишься в тюрьме.

Прошка прожил на подольской даче день. Могли наползти за ночь тучи, мог хлестать дождь, хлопать ставнями ветер... Не было туч. Не было дождя. Не было ничего, что хоть чуть омрачило бы Прошкин праздник. Было солнечное августовское небо. В саду сильно пахли разогретые солнцем флоксы, выся над клумбой сиреневые и розовые шапки. Слепили сверкающей синью быстрые извивы Пахры под крутыми берегами. Радостная малиновка свистела в кустах.

А в доме в маленьких комнатах с желтыми полами было черное пианино и книжные полки на длинных шнурах, тесно набитые книгами.

— Покопайся в книгах,— сказала Анна Ильинична, перехватив его жадный взгляд.— До обеда мы все заняты, а потом поговорим.

Она поднялась заниматься своими делами наверх. Матери не было видно. Все разъехались и разошлись на службу. Прошка один, неловкий от нетерпения, принялся вытаскивать с полки книги.

Вытащил Бальзака «Отец Горио». «...пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу...» Он проглотил несколько страниц. Отложил со вздохом. Запомнил. «Надо достать, прочитаю».

Вытащил Толстого. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских».

Вытащил Лермонтова.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя:
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса.

На него нахлынула прежняя страсть. Он завидовал этим книжным полочкам на длинных шнурах. Хватал книгу, пробегал страницу, пере-

кидывался от начала к концу. Он забыл сесть и, не присаживаясь, простоял, не помня времени, у книжной полки. Счастливый день!

Послышались шаги. Вошла мать.

Необъяснимо Прошка чувствовал силу и властность в этой маленькой седой женщине. Они сели. Она заговорила без вступлений, неторопливо, негромко о том, что его жизнь началась испытанием, несправедливостью, но не надо все время думать об этом, не надо все время жалеть себя, жалость к себе расслабляет человека, а надо жить мужественно и надо ясно знать основную задачу своей жизни.

Она говорила спокойными словами, как о самых обыкновенных вещах, а Прошка в изумлении думал: «И она, значит, тоже... Но ведь она старая, она музыкантша! Но у нее был сын Александр. У нее сын Владимир Ильич. И Анна Ильинична. И Дмитрий Ильич... Вот какая она мать...»

У Прошки в ушах звучала вчерашняя музыка. Он не смел попросить мать сыграть еще. Черное пианино с барельефом Моцарта было закрыто. Но Прошке все время слышалась музыка, под которую он шел вчера от калитки с Анной Ильиничной через темный сад на свет лампы.

Счастливый день! Прошку любили. Заботились о нем. Давали советы, собирая в тюрьму и сибирскую ссылку.

А солнце двигалось к полудню. Постояло в зените, заливая зноем маленький садик подольской дачи, рисуя яркие квадраты на желтых полах, и стало клониться к западу. Счастливый день шел к концу.

На первое время Прошка вез с собой пять книг, подаренных Анной Ильиничной. На первое время, а там будет видно. Анна Ильинична говорила, прогуливаясь с ним по дорожке их подольского садика:

— Ты должен учиться. Смотри, чтоб из ссылки вернуться образованным и культурным рабочим, смотри у меня.

Она составила ему программу, что читать. Велела выучить иностранный язык.

— Не сможешь? Новости! Все могут, а он нет. Приедешь на место, оглядишься, тогда напиши. Рассказать тебе, каких я знаю рабочих?

Она не называла фамилий, но ее знакомые рабочие много были повыше Прошки по культурному и политическому уровню.

— Не догнать мне их.

— Захочешь — догонишь.

Выползло из-за облака солнце, побежало лучом по полям. Что-то ровное, плоское, как огромное блюдце, блеснуло, засияло голубым и серебряным. Озеро. А вон деревня. Въехали в деревню. Остановились у трактира.

— Отдохнем, однако, часок.

Пока лошади задавали корму, Прошка пошел по деревне размять ноги. Большая деревня, сибирская, с крепкими избами, высокими заборами. «И меня в такую же завезут на три года. А если там ни школы, ни учителя, ни одного политического, ни единой книги?» Ему стало жутко. Пока сидел в Бутырской тюрьме, ожидая этапа, потом в Красноярской пересыльной тюрьме, Прошка узнал политических. С ними было ему интересно. Потом их разлучили. По неизвестным причинам разослали в разные села. Опять он один...

«Не хныч. Не жалей себя. Нельзя жалеть себя. Жалей других».

Тянется дорога. Мотает головой лошаденка. Снова гора, да высокая, крутая. Прошка в жизни не видывал таких крутых гор!

— Что за гора?

— Думная.

— Отчего ее так назвали?

Возница промолчал, и они пеш-

ком пошли в гору, держась за края телеги. Осилили перевал — влезли на телегу, возница щелкнул кнутом.

— Задумаешься, как взбираться на нее, оттого и Думная. Но-о, ты!

После Думной горы вдалеке на горизонте поднялись слева могучие великаны хребты. Вот они, Саяны, в сверкающих ледовых шапках, с ползущими вниз по расселинам лиловыми и синими тенями и резкой белизною снегов. Вот она, Сибирь. Ее великанские горы, неприступная тайга, рыжие осенние степи. Узкая речонка течет в низких берегах. Вдруг... Что это? На развилке дорог верстовой столб. На столбе крупно намалевано черным:

«Село Шушенское, 12 верст».

У Прошки екнуло сердце. Куда им ехать? Мимо по тракту? Или проселочной дорогой на Шушенское? Он зажмурился, у него бухало в ушах и в груди, словно в колокол били.

— Но-о, сытая! — понукал возница.

«Сворачиваем, — почувствовал Прошка. Приоткрыл глаза. — Свернули. Едем в Шушенское».

За Прошкину жизнь случилось с ним два чуда. Первое то, что в Подольске нечаянно набрел на Ульяновых. Второе сейчас: в двенадцати верстах село Шушенское.

Анна Ильинична сказала: «Брат живет в Шушенском. Может, не так далеко тебя ушлют, может, удастся встретиться...»

— В Шушенское нам зачем? — стараясь не выдать душевный переполох, притворно безразличным голосом спросил Прошка возницу.

— Поздно из городу выбрались. Заночевать, однако, придется, — буркнул возница.

«Вот человек, молчун. Может, горе у него, оттого и молчун. Может, жена у него больная, оттого и буркает. Или сибиряки все такие? Природа у них суровая, и они суровые. Зато надеяться можно, не выдадут. На суровых иной раз вернее надежда, а ласковый иной раз затем и ласков, что двух маток сосет...»

Прошка бросил наблюдать за окрестностями, глядел и не видел, голова его была занята мыслями о том, как бы перехитрить возницу и улизнуть к Владимиру Ильичу, когда они остановятся в Шушенском на ночевку. Может, возница не будет против. А если не пустит? «Не велю, и все». Имеет он право не велеть? Ничего Прошка не знал. Темный, политически необразованный Прошка. Немало перечитано книг, а ничего не смыслит Прошка в практических делах, хоть и рабочий класс, а не смыслит.

Жизнь научит, однако. На то и жизнь, чтоб учить.

— Тпррру! — остановил возница кобылу возле заезжего двора. Кобыла подобрала хвост, повесила морду.

Пока возница распрягал кобылу, предъявлял кому-то Прошкино проходное свидетельство, пока босая толстопятая баба в сборчатой юбке вздувала самовар в постоялой избе с широкими лавками и русской печью, живой от тараканов, Прошка томился, не зная, как подступить к молчуну вознице. А вышло все просто.

— Ступай, — по первому слову отпустил Прошку возница. Что не отпустить? Что ему опасаться? Отсюда не убежишь, из села Шушенского, в шестистах верстах от железной дороги, а тем более в осеннее время, когда туманами дымятся Саяны, неприступно гудит и воет тайга, рыщут волки по дорогам. Куда побежишь? Течет речка Шуша вдоль села Шушенского. Дальше Шуши Саяны. Дальше Саян край света. Не убежишь.

— Где тут ссыльный живет? — спросил Прошка на улице первого встречного.

— Какого тебе? У нас они не переводятся. Наша местность для них в самый раз.

— Ульянов Владимир Ильич.

— А-а.





Прошке показали тихий проулочек. В конце проулка, предчувствуя зиму, застывая, медлея, течет река Шуша. Над самой Шушей Прошка увидел дом. И заметил крылечко с двумя деревянными столбами вроде колонн. И заметил во дворе беседку, увитую коричневой, уже зачахшей от осенних морозов листвой. Прошка не знал, что эту круглую беседку собственноручно сделал Владимир Ильич, но беседка ему понравилась. И даже чем-то смутно напомнила подольскую дачу. А навстречу ему шла девушка с коромыслом, чуть сгибая плечи под полными ведрами. В одном сарафане, несмотря на холод, в полушалочке, круглощекая, синеглазая, крепенькая. Улыбка сбежала с лица Паши при первом вопросе:

— Здесь Владимир Ильич Ульянов живет?

Паша помнила... Жандармы тогда вломились среди ночи. На плечах у них были погоны, револьверы в черных кобурах у пояса. Паша перепугалась, когда без спросу, грохоча сапогами, полезли они в комнату Владимира Ильича. Женька вздыбила на загорбке шерсть и завыла. Елизавета Васильевна села на деревянный диванчик и, глядя на закрытую к Владимиру Ильичу дверь, молча курила одну за другой папиросы. У Паши стучали зубы: «дз-з-з-з».

— Не трясись,— сердито велела Елизавета Васильевна.

Они обе молчали, прислушивались. Там чем-то грохали, падали книги. Пепел рос горкой перед Елизаветой Васильевной.

— Пронеси, пронеси, господи! — шепотом молилась Паша, больно прижимая к груди кулаки.

Ничего крамольного не нашли тогда жандармы на книжной полке Владимира Ильича. Может, и не было крамольного. А может, и было. Надежда Константиновна сама прибрала после обыска бумаги и книги.

Прошка на жандарма не походил, но Паша все же сухо спросила:

— Зачем тебе Владимир Ильич?

Но она уже догадалась, что этот парень, худущий, с каким-то удивленным и вместе открытым лицом, пришел к ним без камня за пазухой. А во-вторых, она чувствовала, этот парень глядит на нее восхищенно. Конечно, ей нравилось, когда ее красотой восхищались.

— Ну, чего тебе надо? Ты нездешний? — добрее спросила она.

— Ссыльный.

— Ой!

Как вы, должно быть, заметили, Пашино «ой!», так часто срывавшееся с ее губ, могло выражать самые различные чувства: изумление, радость, участие, но только не холод. Прошка понял, что в этом доме его ждет доброта.

— Давай я ведра-то снесу. С полными встретил, к удаче.

— Располагай, что к удаче. А донесу сама. Мы привычны. Входи в дом, гостем будешь. Ссыльный. А я думала, новый вестовой какой из волости. Как тебя звать?

— Прошка... Прохор,— поправился он. «Сейчас скажет: «Прошка, глазищи как плошки».

— Ой! У нас во всем Шушенском Прохора нет. Откуда ты такой заявился? Прошка. А подходит. Ты Прошка и есть. Как угадал поп имя для тебя припасти, подходящее уж больно.

— А тебя как зовут?

— Пашей зовут. Входи. А Владимира Ильича с Надеждой Константиновной нет. Рано утром уехали. Завтра, может, к вечеру будут.

И не сбылось чудо. А что будет завтра, увидим.

Женька вскочила от порога и, энергично виляя хвостом, тявкнула, встречая Прошку добродушным лаем.

— Она у нас безошибочная, хорошего человека от худого зараз отличит, — сказала Паша. — Проходи к столу, садись, гость.

Сама опустила ведра на пол. В ведрах плавало сверху по круглой

дощечке, вода не расплескивалась. У печки бушевал и плевался горячим паром самовар под трубой. Маленькое, до голубизны бледное существо складывало на полу самодельные, расписанные красками кубики. Серьезно, недетски поглядело на Прошку.

— Ты прошение пришел к нам писать?

— Нет, это Прошка, высланный к нам. А это Минька. Они латыши, отца к нам на поселенье прислали, отец катанщик, а зовут не по-нашему — Кудум. Валенки катает. А пьет! Что заработает, то и пропьет. Владимир Ильич с Надеждой Константиновной Миньку жалеют. Минька, чай сейчас станем пить. Прошка, а ты еще и порядков наших не знаешь. Утром проверка, под вечер опять же проверка, удостоверится, на месте ли ты. А то унтера жандармского из города принесет с объездом, поумней тогда надо. Если что есть неразрешенное, прячь.

— Кого ты там обучаешь?

Вошла женщина в белой кофточке, неся в руках шитье и книгу под мышкой, заложенную спичкой на странице, где, видно, читала. Пожилая женщина, гладенько причесанная, с широким белым лбом и смешливым взглядом.

— Откуда гость?

— Он, Елизавета Васильевна, высланный к нам.

— Шутишь! Докатилось начальство — ребятишек ссылать принялось. Чем ты их напугал?

Она посмеивалась, но улыбка у нее была душевная и звала к откровенности. Но Прошке запомнилось: «Не жалей себя. Жалость к себе расслабляет». И он не стал рассказывать, как его предал и засадил в тюрьму почитатель Екатерины Дмитриевны Кусковой Петр Белогорский.

— Если я молодой, так наше главное в будущем,— бодро тряхнул Прошка вихрами.

— Когда так, будем пить чай.

Минька бросил складывать кубики и приковылял на кривых ножках к столу, вытянув тонкую шейку, высматривая, не поставлены ли в сахарнице конфетки.

— Будет тебе конфетка, голубенький,— сказала Елизавета Васильевна.

Прошке она показалась ничем не замечательной старой женщиной в белой кофточке. Вот разве лишь любит читать! Это Прошка вмиг угадал. Хотя бы потому, как она вошла с книжкой и положила возле себя на столе. А сама принялась шить, пока Паша даст чай. Прошка не знал, как смело и гневно поручик Крупский воевал с бесчинством царских чиновников в Польше и всюду, где ему приходилось служить, и как жена говорила ему: «Что бы ни было, я с тобой».

Сейчас Прошке было не до того, не до Елизаветы Васильевны Крупской. О чем бы ни говорили, он видел Пашу, одну Пашу. Странное что-то творилось с ним! Он был счастлив и несчастлив. Он не загадывал и не думал о будущем. Думал о том, что скоро надо ему с ней расставаться. Грудь его теснило горе, оттого что так быстро и навсегда пролетел этот нечаянный вечер. Безрассудно влюбленный! С первой встречи влюбленный Прошка.

Тем не менее ум его деятельно и хитро работал, измышляя, как бы подольше побыть с Пашей.

— Я от вас до заезжего двора не заблужусь: на селе в первый-то раз?

— Вполне возможно, что и заблудишься,— согласилась Елизавета Васильевна.— Проводи его, Паша.

— И я,— пискнул Минька.

— Ты с бабушкой домовничать останешься, маленький. Сдается мне, хватит ему одной провожатой.

Умная-преумная, понятливая, насмешливая бабушка Елизавета Васильевна! Спасибо, Елизавета Васильевна!

Темные облака неслись в темном небе, неслись холодные звезды над

селом Шушеиским. Где-то в кулацких дворах, бряцая цепями, гавкали псы. Тускло светили керосиновые лампы в чьих-то оконцах, ветер гулял и шатался вдоль пустых улиц, и было бы жестоко, тоскливо, отчаянио, если бы в первый вечер своей сибирской ссылки, еще ие доезжая до места, Прошка не встретил Пашу, синеглазую, с пшеничной косой! Он уже зиал, что завтра увидит Владимира Ильича. Сейчас ои видел и слышал только Пашу. Одиу Пашу.

— Ты ие отчаивайся,— говорила оиа.— Ты духом ие падай. Наш народ к ссыльиым привычиый. У нас зря не обидят. Если ты правильный человек, у иас не обидят. Наш иарод такой, он правду за сто верст услышит. Вон Владимир Ильич, знаешь, о ием какой слух по всей Сибири идет? Хороший, однако, говорят, человек. Справедливый. Вот что о ием говорят. Прошка, а что, рано ли поздно скииут царя-то?

Оиа ставила его в тупик. Ои хотел ей сказать, что жить ие может без нее. Сегодня утром еще мог. А теперь нет, ие может. Прошка решил, что будет приходить к ией из своего села.

— Даль-то! — с иедоверием покачала оиа головой. — Тайга-то!

— Что же тайга! Нипочем мне тайга.

— Ой, не хвались. Как заметет, как завоет, как загудит! А ты, однако, Сибири ие бойся. У иас иарод неплохой...

Оиа быстро довела его до заезжего двора, слишком быстро. Горе сжимало Прошкину грудь. Зачем он ее встретил, если сейчас же расставаться? Зачем?

— Погоди здесь меия, Паша!

Он вбежал в избу. В избе, должно быть дожидаясь его, слабо горела пятилинейная лампа с подвернутым фитилем. Он вошел в сонное царство — изо всех углов, с полатей, с печки и лавок доносились храп и сопеиье. Душно. Хоть рукой раздвигай спертый воздух. Прошка вытянул из-под лавки свой деревянный суидучок, отпер ключом, повешенным на шее вместо крестика на бечевке. На дне сундука, под рубахами, киигами и прочим Прошкиным иебогатым имуществом, лежали мамииы варежки из овечьего пуха, серенькие, с белыми звездочками, белой оборочкой, вывязанной будто кружево. Прошкина мать была кружевницей, искусиицей.

Выиес варежки Паше.

— Вот материио наследство, отец иа прощаиие дал перед ссылкой. Возьми, прошу тебя! Носи. Вспоминай, что живет в селе Ермаковском сослаиный Прошка.

— Не надо мне. За кого ты меня принимаешь? Чтоб я от париия чужого взяла? Да ии за что!

— Какой я тебе чужой парень? Я политический ссыльный. Меня за тысячи верст пригнали сюда. Паша, возьми.— Он сунул варежки ей в карман, схватил за руку, притянул и — она не успела опомниться — чмокнул иеловко в щеку, близко к виску: — Ты... моя... первая.

18

Шествие медлеиио двигалось. Небольшая группа людей, одетых в темное, склонив головы, провожала гроб, плавно плывущий впереди, казалось, по воздуху, ибо Прошка не видел тех, кто его нес. Прошка издалека следил за шествием, оно проследовало широкой улицей и повернуло за село в иаправлении кладбища. Прошка торопился догнать их, но бегом бежать стеснялся. За гробом разве бегут? У всех ворот вдоль улицы стояли мужчины и жеищиины. Пока гроб не скрылся из виду, молча, строго стояли. И после ие расходились.

Вчера Прошке сказали, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна уехали сюда, в Ермаковское, ио не сказали зачем. Елизавета Васильевна и Паша не сказали о похоронах. Не хотели омрачать ему на-

строение. Прекрасный был вечер вчера! С Елизаветой Васильевной они вспоминали Петербург, стараясь затмить друг друга знанием разных памятных мест. Елизавета Васильевна затмила Прошку, поскольку в Питере она в детстве жила и училась и после с Надеждой Константиновной они жили на Старо-Невском проспекте. Лишь под самый конец Прошка свое наверстал, посрамив Елизавету Васильевну типолитографией Лейферта. Елизавета Васильевна не представляла, какая-такая типолитография Лейферта на Большой Морской улице, они с Пашей рты раскрыли, узнав, что он таскал листы «Развития капитализма...» на проверку Анне Ильиничне. Вон кто, оказывается, таскал листы, Прошка. А еще... Теперь не говорите ему, что не бывает любви с первого взгляда. Он стал другим человеком: что-то ликует внутри у него.

Первая любовь! Бескорыстная, застенчивая, великодушная, щедрая, единственная первая любовь, счастлив, кто испытал тебя, даже неразделенную.

Прошка догонял похороны, а из головы его не шла Паша, вся чистенькая, как белый грибок. Изумленное Пашино «ой!» не выходило из его головы. Что делать! Он не знал, кого хоронят. Не мог он плакать об умершем человеке, которого не знал живым. Он торопился увидеть Владимира Ильича. И Надежду Константиновну. Ее мать, разговорчивая и приветливая и в то же время насмешница Елизавета Васильевна, осталась в Прошкиной памяти...

Он пришел на кладбище за селом. Невдалеке начиналась тайга. Тайга не шумела. Было тихое небо над кладбищем, затянутое тучами. Все голо и пусто. Листья с кустов сорваны осенью. Деревянные кресты стояли над печальными холмиками.

Гроб водрузили на какое-то возвышение. Прошке видно было в гробу тонкое лицо с каштановой бородкой, спокойное и нездешнее, увенчанное ржавыми дубовыми листьями. Молодая женщина в черном платке не плача стояла у изголовья гроба.

Кто-то говорил речь. «Прощай, Анатолий!..»

Вдруг тоска нахлынула на Прошку. Вдруг это кладбище, эта голая осень, низкое небо, темная тайга, смутно видные сквозь тучу и мглу очертания Саян и разбитая, неутешная женщина над гробом, в черном платке — все подняло в Прошке тоску. Что жизнь? Зачем? Для чего она, все равно конец один...

К гробу подошел человек. Прошка узнал его. На подольской даче он видел его фотографии.

— Мы хороним товарища и друга, погубленного царским правительством,— начал Владимир Ильич.

Едва он стал говорить, Прошка понял, что хотя Владимир Ильич в точности такой, как на фотографии, а между тем и совсем не такой: не очень высок, будто обыкновенен совсем, так почему же нельзя взгляда от него оторвать, от его живого, чуть скуластого, непрерывно изменчивого, полного чувств и душевных движений лица? Видно, ничего не было в нем вполовину. Любил так любил. Горевал так горько. Все чувства его были сильны. Он горевал о Ванееве, говорил спасибо Ванееву.

— Спасибо тебе, Ванеев, за твою прямую и честную жизнь. Ты всю ее отдал делу рабочего класса! Спасибо тебе, мы гордимся тобой. У тебя не было других задач, кроме борьбы за дело рабочего класса! Анатолий! Милый товарищ... Верный товарищ...

Владимир Ильич на мгновение умолк. Взялся за горло, и брови его, летящие от переносья к вискам, скорбно сдвинулись.

Медленно, словно в раздумье, полетели редкие сухие снежинки. Кружились, падали на открытый лоб Ванеева и не таяли. Женщина в черном ухватилась за гроб и ненасытно

глядела на восковое лицо, которое еще недавно жило, страдало, любило, а теперь было мертво и чуждо всему.

— Тебя нет больше с нами, наш верный товарищ Ванеев,— тихо и медленно снова заговорил Владимир Ильич.— Как ты хотел и мечтал продолжать с нами наше общее дело! Помню, недавно... Клянемся над твоим безвременным гробом, наш друг, клянемся! Нас не испугают ни тюрьмы, ни смерти. Нас мало, но будет все больше. Наши ряды сплочены. Мы тверды. Друг Анатолий, ты был среди первых борцов. Вечная память тебе, наш дорогой Анатолий Ванеев.

Женщина в черном платке провела ладонью по лицу Анатолия, сметая снежинки. Чирикали пестрые синицы в кустах. Поспешно, резко застучали молотки, вбивая гвозди в крышку гроба. Синицы вспорхнули и улетели.

Среди деревянных крестов поднялся свежий глиняный холмик. Все кончилось.

Прошка хотел сразу после похорон подойти к Владимиру Ильичу, но Владимира Ильича окружали товарищи. Женщины под руки вели вдову. Она шагала, глядя перед собой расширенными, сухими глазами.

Прошка слышал, Владимира Ильича кто-то звал зайти. У Надежды Константиновны было грустное, больное лицо.

— Боюсь, не расхворалась бы ты у меня. Надо нам домой поторапливаться,— заботливо сказал Владимир Ильич.

Прошка приметил, в какую избу их повели, и со всех ног помчался в волостное правление. Сельский писарь приказал после похорон немедленно явиться. Прошка явился. Писарь, курносый и большеухий, с маслянистыми волосами, был занят переписыванием в конторскую книгу казенной бумаги. Прошка покашлял, писарь не оторвался от бумаги. Прошка еще нетерпеливо покашлял.

— Не на пожар, обождешь.

Полчаса Прошка ждал. Затем писарь подул на листок в конторской книге, убедился, что чернила просохли, закрыл книгу и принялся наставлять Прошку, как полагается жить ссыльному. Чего можно, чего не положено. Не положено без спросу отлучаться из села. Рассуждать о политике. Читать вредные книги.

— А какие вредные, как в них разберешься?

— Про то известно властям. Не рассуждай, твое дело слушать.

И дальше, и дальше, в том же духе.

«Опоздал повидаться, уедут! Скоро отговоришься, курносый? Чтоб бык тебя забодал!»

— Господин писарь, разрешите сперва стать на квартиру. Я потом к вам приду.

«Господином» он писаря купил и милостиво был отпущен устраиваться на квартиру, назначенную для нового ссыльного волостным правлением. Там опять пошли вопросы, торговля. Старуха хозяйка не решалась прямо так пустить постояльца. «Заранее обговорить надо, после схватишься, а поздно». Они жили со стариком бобылями. Старик хворый, с печки слезает по крайней нужде.

— Вся работа на мне. Ломишь-ломишь работу, да и согнешься на седьмом-то десятке. Без мужика в крестьянстве нельзя. Оттого и постояльца беру. Воду скотине станешь носить, в хлеву убирать, дрова за тобой, все мужичьи дела за тобой.

— Согласен.

Прошка задвинул под лавку сундук и дал ходу вон из избы. Вдогонку неслось:

— Стой, бешеный, стой! На что они мне порченого такого прислали? Я и днем-то с ним побоюсь, я такого и на порог пустить побоюсь!

«Ладно, уломаю, порядимся».

Еще не добежав до избы, куда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной зашли к товарищам

после похорон, Прошка увидел отъезжавшую со двора двуколку. Владимир Ильич правил сам. Буланый конь с черной гривой и подрезанным черным хвостом, в черных сапожках до колен шел легко, упругим, играющим шагом.

Прошка стрелой пронесся мимо избы, где хозяева, проводив гостей, еще стояли у ворот, в удивлении глядя на бегущего изо всех сил по селу неизвестного парня. Кто-то узнал в нем вновь приехавшего политического ссыльного, которого видели сегодня на похоронах.

— Куда вы? — крикнул кто-то вслед.

Прошка, не задерживаясь, пронесся мимо.

Снежок, начавшийся в час похорон, недолго пошел и задумался, слегка присыпав мерзлую землю. Ехать на двуколке, наверное, трудно по скользкому снегу. Прошка нагнал ездоков за околицей. Дальше, мимо туманного поля, дорога вела к тайге. Одиноко на осенней невеселой дороге. Прошка запыхался от бега, тяжело дыша, взялся за крыло двуколки и молча шагал рядом. Владимир Ильич, прищурившись, поглядывал на него с любопытством, а сам придерживал коня, чтобы шел тише.

— Здрасте, Владимир Ильич, Надежда Константиновна! — наконец выговорил Прошка.

— Здравствуйте, но я впервые вас вижу,— ответил Владимир Ильич.

— И я впервые. Поклон вам из дому.

— Что? Надя, ты слышишь?

У Владимира Ильича вспыхнули глаза, он перегнулся через крыло двуколки, нетерпеливо и горячо спрашивая:

— Вы были в Подольске? Когда? Кого видели? Марию Александровну видели? Говорили с ней? И что? Что она передала с вами?..

Прошка видел Марию Александровну, Прошка с ней говорил, но поклона Владимиру Ильичу она не передавала. Поклон он придумал. Никто не знал, куда вышлют Прошку. Его отправляли в Красноярскую пересыльную тюрьму, а там как распорядится ведавший всеми сибирскими ссыльными иркутский генерал-губернатор. Счастливый день на подольской даче пролетел, больше Прошка не встречался с Ульяновыми. Анна Ильинична пробовала добиться свидания с ним в Бутырской тюрьме, но не добилась.

— Не было поклона? Ну все равно, вы их видели, товарищ... Как вас зовут? Прохор? Пожалуйста, товарищ Прохор, расскажите подробнее,— мягко и просительно настаивал Владимир Ильич.

Надежда Константиновна взяла из его рук вожжи. Владимир Ильич спрыгнул на землю. Прошка заметил, он коренаст, но в движениях ловок и быстр. Вид у него был молодой, легкий, встревоженно-добрый.

— Вы видели маму своими глазами?

— А чьими же?

— Чудесная штука, что вы ее видели! У нас печальный сегодня день. Услышать в этот день весть из дома особенно дорого! Как она выглядит, пожалуйста, опишите елико возможно подробней.

Они стояли возле двуколки близко друг к другу. У Владимира Ильича был нетерпеливый, будто насквозь проникающий взгляд. Грустные складочки около рта. Прошка почувствовал необычайное влечение к нему и, не жалея красок, принялся расписывать подольскую дачу:

— Полы желтые, как зеркало блестят! На столе скатерть с бахромой. В каждой комнате книги на полочках. А ваша мама, Мария Александровна, играла весь вечер на черном пианино, такую душевную музыку... не стерпишь — заплачешь!

Четыре года Владимир Ильич не слышал музыки. В детстве и юности каждый вечер в доме была мамина музыка. В Петербурге иногда удавалось послушать концерт. Как недо-

стает ему музыки! Как давно он не видел свою удивительную мать... маму.

— У Марии Александровны белые волосы, белые-белые, а на волосах кружевная наколка...

— Значит, на подольской даче был праздничный вечер, у Марии Александровны все собрались,— заметила Надежда Константиновна.

— Не знаю уж, все ли... Пожалуй, что все, говорят, одного Володи, вас то есть, Владимир Ильич, не хватает. Мария Александровна говорит: «Когда-нибудь увижу я, чтобы все мои дети сели вместе за стол? Доживу, говорит, до такого дня или нет?» Дружные ваши родные. Хорошие люди ваши родные. И про вас вспомнили, Надежда Константиновна!..

— Видно, вы сами хороший человек, товарищ Прохор,— сказал Владимир Ильич.

— Володя, не остаться ли нам переночевать в Ермаковском? Поговорили бы вволю, не торопясь? — спросила Надежда Константиновна.

— Нельзя, Надюша. Ты не очень здорова. И коня только до нынешнего вечера наняли.

Словно услышав, что речь о нем, буланый конь взял с места и бодро пошел.

— Тпру! Тпру-у! Вот что, товарищ Прохор, скажите еще, а Дмитрия Ильича вы видели? Как он? Здоров ли?

— Дмитрий Ильич! Вот он, Дмитрий Ильич! Вот он свой шарф мне подарил на дорогу. Не он, а Мария Александровна дала. Возьмите, говорит, на случай морозов. Мити нашего шарф. Пощупайте, теплый-то, повяжешь на шею, будто в печку влез.

Владимир Ильич пощупал шарф на Прошкиной шее, похвалил: верно, теплый. Значит, ничего, здоров Дмитрий Ильич?

Надежда Константиновна потянулась, тоже пощупала. Надежда Константиновна поинтересовалась сестрой Владимира Ильича Марией Ильиничной. Она ее называла Маняшей.

— Сурьезная Мария Ильинична. Сидит в качалке, весь вечер молчит и молчит. Не знаешь, как и подойти. Изо всех Ульяновых неподступная.

— Что это? — удивился Владимир Ильич.

А Надежда Константиновна сказала:

— Должно быть, забота какая-то была у нее. Маняша необыкновенно сердечный человек и отзывчивый. Сверлит ее, кем в жизни ей быть. Я в ее годы тоже металась. То в сельские учительницы хотела идти, да места не нашлось. То поступила на курсы, то бросила курсы. Смысл жизни искала. У Маняши сейчас та же пора — юность!

Зато о своей спасительнице Анне Ильиничне Прошка рассказал целую поэму. И какой у нее голос веселый и звонкий. И какая простая она. Об уме говорить не приходится. А глаза... будто вся душа из них смотрит.

Владимир Ильич внимательно слушал, улыбаясь. Да ласково так. Был бы брат старший у Прошки, с такой вот улыбкой, наверное, слушал бы.

— Вы наблюдательны, товарищ Прохор,— сказала Надежда Константиновна.— А вы сами откуда?

Отчего-то, из какой-то стеснительности Прошка не стал подробно описывать свою жизнь, таким чудесным и удивительным образом связанную с Владимиром Ильичем и всеми Ульяновыми. Может быть, он не стал подробно рассказывать о печатании книги Владимира Ильича в типолитографии Лейферта, о петербургском знакомстве с Анной Ильиничной, о кружке Екатерины Кусковой, где готовилось ее злое и фальшивое кредо, обо всем, что с ним было, оттого что короток осенний день, хмуро осеннее небо, а дорога далека и стоверстный, глубокий, мощный гул стал докатываться из тайги, где ветер лишь тронул ма-



кушки дерев, и они отозвались. Пора Владимиру Ильичу с Надеждой Константиновной ехать.

— Питерский рабочий я, печатник,— только и сказал Прошка.

— Такой молодой и уже печатник! — похвалила Надежда Константиновна.

— Слушайте, товарищ Прохор,— сказал Владимир Ильич.— Сегодня у нас горький день. Мы похоронили товарища, который отдал рабочему классу и делу его всю свою жизнь, очень талантливую. Вы пришли в этот день как будто на смену ему. Очень это серьезно. Нелегко вам будет в ссылке. Но здесь, в Ермаковском, хорошие люди. Главное, времени зря не теряйте, учитесь. Знаете, что я вам посоветую, составьте программу и план на каждый день...

Он тоже советовал Прошке учиться, как Анна Ильинична.

— Приезжайте к нам в Шушенское,— позвала Надежда Константиновна.

Владимир Ильич влез в двуколку, взял вожжи.

— До свидания, товарищ Прохор, бодрее живите. В случае чего, дайте знать. И приезжайте!

Надежда Константиновна махнула на прощание муфтой.

Прошка глядел вслед им, пока было видно.

19

И вернулся в село. Одна мысль его занимала. На кладбище, кроме Владимира Ильича, Прошка почти никого из людей не запомнил. Но одного все же выделил. Высокого гибкого парня с незагорелым лицом. Тонко выписаны черные брови, на висок упала светлая, с рыжеватинкой прядь.

Нескладно сложилась Прошкина жизнь, не было у него настоящего товарища. Как ни горько признаться, вовсе не было у Прошки товарищей. Где они? В детстве в Подольске дружил с ватагой ребят. Играли в бабки, в лапту, ходили в лес по грибы, слушали в школе учителя. Особенно помнил Прошка одного подольского друга. С ним собирались уехать из Подольска, куда — не решили, но есть же где-то другая жизнь, где не только постоялые дворы и трактиры, пьяные купцы и лихие проезжие тройки? Прошка уехал в Питер один. Тот остался в Подольске, нанялся конюхом на постоялый двор. Когда выгнали Прошку из дому, принес другу на хранение на три дня сундучок. Не отказал школьный друг. «Оставляй. А никому не разбалтывай. У нас ежели кого в ссылку угоняют, водиться-то с ним не шибко советуют. Учителя нашего помнишь? Угнали тоже».

В Питере в типолитографии Лейферта работали больше пожилые люди, и там сверстников не было. Прошка ли сам виноват или судьба у него такая, что рвется к дружбе, а товарища нет? Оттого и приметил парня, который даже над могилой стоял, не клоня головы.

«Где бы мне разыскать того парня?!»

Прошка торопливо шагал вдоль широкой обезлюдевшей из-за осенней хмурости улицы, и вдруг — вон он стоит у калитки. Треух на затылке, руки в карманы. Стоит гордый. Взгляд свысока. Так свысока, что у Прошки захолонуло внутри. Желание знакомства улетучилось. Прошел бы он мимо. Почти и прошел. Но оглянулся. И застал другое лицо. На этом другом лице, которое он застигнул врасплох, были написаны досада и раскаяние. Для себя самого неожиданно, безотчетно Прошка вернулся назад.

— Я Владимира Ильича догонял.

Парень вырвал руки из карманов.

— Догнал?

Любовь с первого взгляда бывает. А дружба? Они еще не начали разговора, но уже что-то их потянуло друг к другу.

У Леопольда ведь тоже настоящего товарища не было. Леопольду то-

же хотелось дружить. С парнем. Мужской прочной дружбой. С настоящим товарищем делишься главным. Что у Леопольда главное? Страсть к книгам и политика.

Отец настрого запретил громко говорить о политике. Леопольд сам знал: нельзя. Не забывал унтера с золотистыми усами, перечертившими румяные щеки. Из-за этого чертова унтера Леопольд опасался и деревенских ребят. На охоту, на рыбалку ходили, а дальше не шло.

А Прошка с первых слов ухватился за главное.

— Ты Ванеева видел живым? Какая у него революционная работа была?

Леопольд видел Ванеева живым. И о революционной его работе наслышан.

— Знаешь, какая в Петербурге у Ванеева была кличка? Минин. Во всех рабочих кружках Минин свой. А жандармы: что за Минин? Дураки! Ванеев был борцом до последнего. Ну, а теперь давай ты говори.

И начался рассказ о событиях Прошкиной жизни, приведших его в подтаежное село Ермаковское.

— Ну, ну! — изумленно подгонял Леопольд.

Ничто так не разжигает рассказчика, как жадное внимание слушателя. В Прошке разгорелся талант. Кое-что подкрасил в рассказе, поприбавил опасностей, поубавил тюремной тоски, получился портрет храбреца. Отчаянного храбреца получился портрет. Плевал он на их шпиков и карцеры. Ссылкой хотите взять? Не возьмете, плевал он!

Так в этот вечер они стали с Леопольдом друзьями. Как добра судьба! Как несправедлива судьба. Пятьдесят верст степной и таежной дороги разделяют села Шушенское и Ермаковское. Разделят их дружбу таежные версты. Устоит?

— Ты Мицкевича читал?

Уж конечно Леопольд не мог обойтись без Мицкевича. Выпала пауза в Прошкином рассказе, Леопольд за Мицкевича.

— Лоб не три, не старайся. Не забыл бы, если б читал. Наш знаменитый польский писатель. Тоже высылали из Польши в Россию. Тут и встретились с Пушкиным. Ну, а Пушкина знаешь? Как Пушкин Мицкевича на русский язык перевел? «Три у Будрыса сына, как и он, три литвина. Он пришел толковать с молодцами...»

Стихи Прошка одобрил. А вообще-то ему больше нравится проза. «Капитанская дочка», «Былое и думы», Максим Горький нравится.

— Какой еще Максим Горький?

— О Максиме Горьком не слышал? Вот так раз! У нас в Питере наизусть Максима Горького знают. Я привез одну книжку. Зайдем ко мне на квартиру, дам почитать. Уезжаешь завтра? Эх, жалко, так жалко. Ничего, все равно дам, вернешь при случае. Как-нибудь мы с тобой придумаем свидеться. Так ты Максима Горького не знаешь? Вот так да!

— Что в нем такое особое?

— Все особое. За рабочих, за революцию он, вот что! «Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье...» Читать?

— Читай.

— «Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...» Думаешь, простой это был Сокол? «Я знаю счастье... Я храбро бился...» Вот он какой. Это так говорится, что Сокол, а на самом-то деле...

— Не объясняй. Сам пойму.

— «...Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились...» А то еще «Старуха Изергиль» есть, тоже стоит почитать.

— Пойдем скорее, давай мне Максима Горького. Или погоди... Скажи, ты мог бы жить без цели, просто так, день за днем? Ну, денег заработать побольше, одежу справить получше, а других целей нет, мог бы?

— Дурь какую ты спрашиваешь! Если я революционер и политический ссыльный, как же мне жить без цели? На черта мне деньги. Моя цель — свержение царя и капитализма и...

— Тише, тсс! Понял. У меня такие же взгляды. Я тоже за это. Когда у нас кончится ссылка, уедем домой, буду тебе постоянно писать. Знаешь, как приятно получать в ссылке письма! Отцу не так часто пишут, а Ульяновым с каждой почтой ворох писем притащит почтарь. Я нарочно хожу поглядеть, как они радуются. Владимир Ильич распечатает конверт, быстро-быстро забегает глазами по строчкам. Сам бородку пощипывает...

— Леопольд, ответь, только полную правду. Какой он человек?

— Не знаю даже, как тебе отвечать. Не знаю, с кем его сравнить. Какой-то он... сказать мало, что хороший. Особенный он.

— Понял. Раньше, когда молодым был, я людей разделял: есть люди обыкновенные, а то редкие есть. Редких-то раз-два, и обчелся. А есть...

— Ты «Коммунистический Манифест» читал?

Наступил момент посрамления Прошки. Прошка мог бы соврать. Не захотелось соврать. Слышать слышал о «Коммунистическом Манифесте», а читать — нет, не читал.

— Не чи-тал? — по слогам, в ужасе, преувеличенном ужасе, проговорил Леопольд.— А первый том «Капитала»?

— Не читал.

— А...

— Ладно выспрашивать. Что ты привязался выспрашивать? Откуда мне запрещенную литературу добывать было, когда я за решеткой сидел? До тюрьмы что библиотекарша даст, то и читаю. Теперь примусь наверстывать.

— Здесь, в Ермаковском, есть ссыльные Сильвин, Лепешинские. Владимир Ильич всегда о них говорит, вот говорит, замечательно образованные люди! Еще у Владимира Ильича есть один товарищ, Глеб Кржижановский, так тот все на свете знает, о чем ни спроси! Вот слушай, что с польского перевел. Мой отец говорит ему, а он переводит:

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозитесь свирепо тюрьмой, кандалами!
Мы вольны душою, хоть телом попраны,
Позор, позор, позор вам, тираны!

Тише, что это я на улице запел? А то еще Ленгник есть, черный такой, бородатый, шахматист исключительный, суровый, он в Теси живет, село Тесинское отсюда за семьдесят верст. Все товарищи Владимира Ильича. Мой отец говорит, с такими товарищами не пропадешь. Прохор, значит, дружим?

— Да.

— Друзья! Будем делить все — неудачи и радости. Ничего не утаивать, до конца, что есть на душе. Друзья навек?

— Навек.

— Вот здорово.

Они дошагали до конца села и давно вернулись обратно и снова шагали в конец села и назад. Между тем наступил вечер. Желтенькие огонечки неярко засветились в некоторых окнах. А некоторые окна затворились ставнями, и избы стали немые и темные. Погодите, а Прошкина изба где? Батюшки, не заблудились ли мы? Ночь на дворе. Хозяйка, бабка Степанида, запрется — поди достучись. А стучаться куда? Прошка всего и запомнил, что изба в два окошка, никаких других примет не запомнил.

— Идем ко мне ночевать, ляжем вместе, поговорим,— позвал Леопольд.

А писарь? Бабка Степанида завтра побежит, нажалуется писарю, чтобы не своевольничал с первой же ночи. Надо свою избу разыскать, вспомнить приметы. Два окна. Тесовая крыша. Дощатый забор. Рябина за забором. Длинная, одна-одине-

шенька, с необломанными кистями. Бабка Степанида бережет, пока ягоду морозами схватит. А вон... глядит через забор, вон... рябинушка... И изба в два окошка. Тут я и живу. И калитку бабка Степанида не заперла, дожидается Прошку.

Лампы у бабки Степаниды нет, сидит с камельком, зажженным на шесте костериком. Дым от костерика утягивает в печную трубу. Прыгают от камелька тени по стенам, качается бабкина тень, сутулая, косматая, как ведьма. Странным все это кажется Прошке, словно читает книжку про чужую жизнь.

Бабка с укорами:

— Шатун непутевый, с первого дня за шатанье взялся! Мало шатун, он еще и дружка с собою привел. Развеселая пойдет у нас жизня. Уморишь ты меня с такой жизней, однако. Не надо мне шатунов, ступай с квартиры долой.

Прошка выхватил из-под лавки сундучок, нашел книжку.

Леопольду:

— Выйдем, дам тебе Максима Горького.

Старухе:

— Бабушка Степанида, не серчай, я на дворе чуток постою, я сейчас!

А на дворе начался снегопад. Ведь еще только сентябрь, еще и листья не все облетели, а в небесах прорвалась запруда, повалил снег, гуще, гуще, и занавес, мягкий, пушистый, колеблясь, тихо качаясь струился и опускался на землю.

— Зима,— сказал Леопольд.— Здесь, в Сибири, снег выпал: до весны не растает.

— На, бери Максима Горького,— сказал Прошка.— Да домой пора, слышал, развоевалась бабка? Свою избу знаешь?

— Вон через три избы и моя, окна светятся, лампу зажгли. Почитаю. Прошка, а знаешь что, Прошк...

— Что?

— Дали слово, чтоб ничего не таить?

— Ну?

— Есть у меня одна... ну, тайна, что ли, не знаю, как сказать. Не хотел говорить, но... Прошка, ты ведь в Шушенском у Ульяновых познакомился с Пашей?

Молчание. Течет, струится, качается снег. Опускается занавес. Мягкий, пушистый. Ночь посветлела от снега. Молчание.

— Прошка, ты ведь познакомился с Пашей?

— Д-да.

Неужели Леопольд не заметил, как сказал Прошка «д-да»? С запинкой, неуверенно: «Д-да». Словно ком застрял в горле, таким упавшим голосом он сказал это «д-да». Потому что раньше, чем начал Леопольд говорить, Прошка все понял.

Снег течет, устилает землю и крыши. Прошка глядит, как на плечах Леопольда вырастают снежные грядки. Ровненькие снежные грядки вырастают у него на плечах.

— Значит, она тебе обещала? Значит... надеешься, приедет к вам в Польшу?

— Конечно! Не обещала, а я знаю, что да. Здесь у нас ко всем политическим ссыльным приезжают невесты и жены. Моя мать приехала к отцу и нас привезла.

— К политическим ссыльным... А ты? Ты домой едешь. Какой ты ссыльный?

— Я революционером буду!

— И она кинет для тебя родное село?

— Она любит меня больше жизни.

Как гордо он это сказал: «Она любит меня больше жизни». И голову вскинул. Здорово у него получается. Да, наверное, так и будет: она приедет к нему в Польшу. А от Прошки умчалась, как ветер, когда он поцеловал ее вчера на прощанье.

— Ну, я домой. Может, удастся еще почитать,— сказал Леопольд.— Жаль, Прошка, что тебя не в Шу-

шенское выслали! Напишу тебе, когда Максима Горького прочитаю. А у тебя нет невесты?

— Нет, у меня нет невесты.

Бабка Степанида ждала его с полутеплой похлебкой в печке.

— Ешь, оголодал, глаза-то провалились, непутевый. Однако уж не пропойца ли ты на мою голову? Ешь, ешь. Сыт, наелся? Ну, ложись, на лавке постелено. Спи.

Прошка лег, укутался с головой полушубком. Душно под бараньим мехом, тяжесть навалилась на плечи.

«Только подружились, поклялись, а я утаил... Сразу и утаил, трус, трус. Расписал себя храбрецом, а сам трус. Храбрый прямо бы высказался: ты в Польшу уедешь, поезжай, а я ее люблю...»

Утро у бабки Степаниды начиналось по-темному. Прошка натаскал скотине воды, задал корму, настелил свежей соломы в хлеву, тогда и солнце поднялось, заиграло на снегу. Воробьи слетелись во двор клевать на рябине ягоды.

Бабка Степанида накрыла завтракать. Слез с печки дед с дряблой, индюшиной шеей и тусклыми глазками, в которых стояла слеза. Ел жадно, загребая побольше картошки с молоком, давясь горячими сочнями. Голова тряслась. Прошку он не заметил.

Бабка Степанида сказала:

— Сотый год идет. Разуму господь на один век отпустил, на второй-то не хватает.

Позавтракали, и пришла молодая румяная женщина в городской шубке и белом пуховом платке. Потопала у порога белыми валенками, сбила голиком снег.

— Товарищ Прохор, я за вами.

Бабка Степанида насупилась, застучала деревянными ложками, собирая после завтрака посуду со стола.

— Я Ольга Александровна Сильвина,— сказала городская женщина.— Леопольд Проминский с отцом рано утром уехали в Шушенское. Леопольд шлет вам привет и спасибо за Максима Горького. А теперь собирайтесь, пойдем.

Бабка Степанида промолчала, отвернулась к окну, там сияло утро, синело высокое уже зимнее небо.

— У нас дружная колония ссыльных,— говорила Ольга Александровна на улице. — Мы не можем оставить вас без внимания, вы у нас новенький, такой молодой паренек, и Леопольд очень просил о вас позаботиться. Итак, что вы собираетесь делать?

Что Прошка собирается делать?

— Да, да, ведь не хотите же вы жить лодырем? Прозябать? Мы решили, что в первую очередь вам, молодому рабочему, надо учиться, поэтому я предлагаю...

Недолго спустя они были у доктора Семена Михеевича Арканова, в его доме, деревенском на вид, но по-городскому перегороженном внутри на несколько маленьких комнат и обставленном по-городскому: стулья с плетеными сиденьями, круглый обеденный стол, книжный шкаф, лампа под белым абажуром. Ольга Александровна готовила докторского сына в гимназию.

— Спрячем в карман ложный стыд,— говорила она, усаживая Прошку за стол возле тринадцатилетнего шустрого и бойкого докторского сына, который, чуть отвернется учительница, вытаскивал из-под стола «Вокруг света» и впивался в страницы с картинками.— Суть не в годах,— внушала Прошке учительница.— Государственное устройство Соединенных Штатов Америки знаете? Климат Швейцарии? Кто такой Робеспьер? Как сказать по-немецки: я хочу прожить свою жизнь разумно и деятельно, с пользой для народа? Не знаете. Многого и другого не знаете. Начинаем урок.

В селе Ермаковском дивились тому, как живут ссыльные. Ни ссор, ни дрязг. Вот прислали нового, тот-

час старые взяли под опеку. Пришлось Прошке заделаться учеником, учить уроки на совесть — стыдно осрамиться перед докторским сыном. А там почитать хочется, книг у ермаковских ссыльных и доктора оказалось вдоволь, только читай. А там за бабкиной скотиной надо ходить, дров наколоть, снег раскидать на дворе.

Была еще у Прошки должность. Сначала он выполнял ее по обязанности, с неохотой, а после с горячим желанием. Над этой Прошкиной должностью сельские ребята, не они одни, и мужики, а особенно бабы, в Ермаковском посмеивались. Бабы липли к окнам, когда Прошка шел по селу и далеко за село (пообжившись, осмелел, распоряжений писаря не так уж точно придерживался) сопровождать на прогулку вдову Ванеева Доминику Васильевну. Доктор приказывал Ванеевой больше ходить по свежему воздуху. Она носила длинную черную шаль, укрывавшую ее до пояса, и осторожно шагала, тяжело и трудно ступая. «Гляньте,— шушукались бабы,— прогуливается. Ей бы последние-то дни с рукодельем дома сидеть, а она об руку с чужим парнем прогуливается! А он-то молоденький и перед народом не совестно с вдовою на сносях ходить? Наши девки теперь ни одна с таким чудаком не согласятся гулять. Засмеют».

Ермаковские ссыльные не оставляли вдову Ванеева одну. Всегда кто-нибудь с нею был. Женщины, две Ольги, Лепешинская и Сильвина, шили вместе с Доминикой распашонки для будущего маленького. Плакали вместе.

Но охотнее всего, как ни удивительно, Ника Ванеева проводила время с Прошкой. Он жадно выспрашивал у нее о Ванееве. Товарищи старались уводить Доминику от разговоров о погибшем муже, думали, что этим оберегают ее, а ей только и надо было о нем говорить. Вспоминать дни и месяцы их общей жизни, такой счастливой, такой недолгой, такой печальной.

— Спрашивайте, товарищ Прохор. Спрашивайте больше. Как я в первый раз его увидела? Это так было. Пришла в тюрьму на свидание, товарищи меня «невестой» ему назначили. Вошла, поднимается со скамьи человек. Какой он? Красивый? Какое у него лицо? Не знаю. Помню только благодарный взгляд. И полюбила его с первой встречи.

— Значит, бывает любовь с первой встречи? — сказал Прошка, думая о шушенской Паше.

— Только с первой встречи и бывает любовь! Потом гаснет. Или разгорается. Да, любовь разгорается... Он был мечтатель. Все настоящие революционеры реалисты и вместе мечтатели. А знаете ли вы, товарищ Прохор, чем для него была дружба! С детства у него самое высокое представление о дружбе. Дружба — это святое... А знаете, почему Ванеев любил звать меня Никой? Ника — крылатая богиня победы. В самые последние дни он все думал, не верил в смерть, отгонял мысль о смерти, он рисовал: когда-нибудь мы добьемся победы, крылатая Ника! Будем жить в новом обществе. Оно будет добрым и умным, и люди там будут честные, открытые. Там не будет вероломных людей. Как хочется увидеть такое новое общество! Вы верите, Проша? Он верил. А еще он мечтал, что мы с ним когда-нибудь поедем во Францию и увидим в Лувре крылатую Нику Самофракийскую. Знаете, что это? Статуя из мрамора. Древняя статуя. Ее нашли на острове Самофракии на Эгейском море. У нее отбита голова, но она прекрасна. Тело, плечи, грудь, крылья — порыв и стремление вперед! Она — победа. Но только для доброго, понимаете, Проша, победа добра.

Они осторожно и медленно шли по селу. Из окон изб глядели бабы.

Иногда она умолкала. Тогда

Прошка думал о Паше. О дружбе с Леопольдом. Как ему быть? Как должен поступать революционер и марксист в такой ситуации, в какую попал наш товарищ Прохор? Он хотел дружить с Леопольдом! Забыть во имя дружбы Пашу? Отказаться от Паши?

— А телеграммы из дома нет,— говорила Доминика.— Нет и нет телеграммы.

Каждое утро она просыпалась с вопросом, не принесли ли телеграмму от родителей.

«Наша родная и любимая дочь, горюем с тобой твоим горем, скучаем о тебе, ждем домой тебя, дочка, когда родится твой маленький. И нашего милого бесценного внука ждем и любим! Отец, мать».

Телеграммы от отца и матери не было.

— Они не хотят моего возвращения домой. Они меня прогнали из дому.

— Меня тоже прогнали из дому.

— Товарищ Прохор! Проша... Ты мужчина, у тебя ведь не будет маленького.

— А вы не бойтесь, вы радуйтесь, что у вас будет маленький! Ваше счастье, что будет!..

— Правда, правда! Я радуюсь. Спасибо тебе, Проша. Ничего, что я на «ты» перешла? Так ближе, теплее на «ты»... Ванеев хотел сына. И я хочу сына, но если родится дочка, Ванеев и дочку любил бы... Как ты всегда сердечно скажешь, Проша, спасибо тебе! Ты мне все равно что родной.

Однажды, когда, по обыкновению, они прогуливались вдоль села, Доминика замедлила шаг, к чему-то прислушиваясь, ей одной только слышному. Зеленоватая, болотная бледность медленно полилась по лицу. Глаза стали огромны, застыли.

— Скорей домой! — сорвалось с губ.

Вытянув руку, она шатающимся шагом подошла и со стоном привалилась к забору.

— Скорее Ольгу Борисовну! Лепешинскую! Прошка, Прошка, скорей! — Она крутила и мяла край черной шали, открывала рот, ловила ртом воздух.

Прошка перепугался, с перепугу потерял соображение. Что делать? Кричать во все горло? На помощь, на помощь, помогите, добрые люди!

А добрые люди, то есть ермаковские бабы, увидев из окон припавшую к забору Доминику Ванееву, повыскакивали из изб, наспех накинув шубейки сверху кофтенок, подхватили роженицу под руки и повели домой.

— Беги в больницу за фельдшерицей Ольгой Борисовной, чего стоишь, рот разинул, ворона? — закричали на Прошку.

Прошка примчался в больницу.

— Ольга Борисовна, Ольга Борисовна!

— Без паники! — оборвала она.— Все естественно. Природа знает.

А сама стремглав побежала по селу вместе с Прошкой к Ванеевым, приговаривая:

— Успеть бы! Что там, бог мой, успеть бы!

Там кипел самовар. Из-за перегородки слышались стоны и чей-то жалостливый бабий голос:

— Не стыдись, милая, шибче кричи, с криком-то легче.

Стриженая, в пенсне, Ольга Борисовна Лепешинская энергично вымыла руки, надела белый халат, повязалась белой косынкой и приказала всем выйти из избы.

В этот день появился на свет маленький Толь.

20

Ночью на село Ермаковское налетела буря. Ветер как бешеный кидался в окна, вся изба кряхтела, вой и свист слышались с улицы — скрипели ворота, стонал журавель колодца, рябинка колотилась о забор обледенелыми ветками, метались по селу снежные смерчи, гудело в трубе.

«Батюшки, где я? — в смятении думал Прошка. — В Сибири. Ссыльный на три года. Неужто? А в трубето что делается, будто волки воют!»

Он спал под хозяйским овчинным полушубком на лавке. Буря его разбудила. Он лежал с открытыми глазами, не шевелясь. Где-то не смолкая стучало: тук-тук-тук-тук. Как на кладбище, когда забивали над Ванеевым крышку гроба. Ночь тянулась тоскливая, долгая-долгая. До утра билась ставня.

На рассвете заохала старуха. Свесила ноги с печки. Поскребла спину.

— Осподи, прости грехи наши. (Зевок.) Малый, вставай. (Длинный зевок.) Слышь, ставню с петли сорвало. Калитку от снегу, чай, не открыть.

Вьюга намела за ночь у заборов кривые сугробы, нахлобучила шапки с козырьками на крыши, перепутала дороги, сровняла канавы, наморозила на окнах ледяные цветы и унеслась. Высокое, ясное, встало утреннее небо над селом Ермаковским. Выкатилось из-за горизонта розовое, будто умытое, солнце. Заискрился снег, и ночная тоска унеслась вместе с бурей. Наставал день, полный дел, как мешок, доверху набитый разным добром. Калитку откопать. Ставню на петли навесить. Снег во дворе раскидать. Тогда завтракать. Бабка ставила на стол миску с запеченной в молоке брюквой или картошкой. Прошка приносил из холодных сеней калачи. Калачей бабка напекала десятка три сразу и навешивала на шесты в сенях замораживать. Когда надо, замороженные кинет в горячую печку на под, их жаром охватит, пышные станут, с хрустящими корочками,— такой еды в Питере Прошка не пробовал.

Управившись за утро с бабкиным хозяйством, отзавтракав,— на уроки к Аркановым. Ольга Александровна Сильвина строгая учительница, не давала Прошке поблажек, гнала по всем наукам без отдыха.

— Учись, рабочий класс.

Все ссыльные твердили Прошке: «Учись».

Иногда лекцию докторскому сыну и Прошке приходил читать Михаил Александрович Сильвин. Его уроки не очень похожи были на уроки. Учитель загорался с первой секунды. Вскакивал с места. Теребил густейшую шевелюру, бегал по комнате, садился верхом на стул, снова бегал.

— Сегодня у нас по программе...

Через четверть часа забыта программа. Вот рассказывается о Петре Первом, шведском короле Карле XII, Полтавском сражении.

Ура! Мы ломим; гнутся шведы,
О славный час! О славный вид!
Еще напор — и враг бежит.

И вдруг, не уловив перехода, разинувшие от внимания рты докторский сын и «рабочий класс» Прошка видят другие картины. Видят Париж. Огромный город Париж. Узкие пестрые улицы. Дома, как корабли, выплывают на площади носами вперед. Кружевные башни католических храмов вскинулись ввысь. Колокола молчат, онемев. В страхе заперлись на запоры дворцы. В окнах бедных мансард полощутся красные лоскутья. Толпы на улицах. Грохочут колеса. Ржут кони. Ружейная пальба. От громовых раскатов пушек лопаются стекла. Пороховой дым едкой тучей навис над Парижем. Это Великая французская революция. Это народ сбрасывает тысячелетнюю королевскую власть. На площади Людовика XV, в виду королевского Лувра, спешно сколачивают деревянный помост для казни короля Франции...

И... миновало столетие. Тише, люди. Входим на кладбище. Обнесенное каменной стеной парижское кладбище Пер-Лашез. Тесно от памятников. Безмолвные длинные улицы памятников. Серый гранит, безнадежный. Гранитный город мертвых.

В глубине, в сумраке старых де-

рев, есть одна стена. Без солнечных лучей, вся в темной зелени моха. Снимите шапки. Склоните головы. Это Стена коммунаров. У этой стены расстреляны последние защитники Парижской коммуны. Короля нет. Правит капитал. Коммунары расстреляны.

И... но о некоторых событиях Михаил Александрович Сильвин говорил только Прошке, когда они шагали вдвоем по селу, возвращаясь из школы в докторском доме. Докторскому сыну Сильвин не рассказывал о Петербурге и «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», в котором и Прошка мог состоять, будь тогда на пять годов старше. Мог участвовать в тайных кружках в Петербурге! Сильвин любил вспоминать, как собирались кружки. Под окнами выставляли дозорных: каждую минуту грозил жандармский налет.

Прошка холодел от волнения, слушая рассказы Сильвина о конспирации и разных отважных случаях из жизни кружковцев.

Вот один случай.

Самым ловким конспиратором, по рассказам Сильвина, выходил Владимир Ильич. Раз под вечер Владимир Ильич собрался на рабочий кружок. Спрыгнул с конки задолго до адреса. Правильно сделал. Видит, субъект один за ним следом прыгает с конки. В котелке, темных очках. Зашагал позади, поглядывает по сторонам с беспечным видом. А вечер холодный, беспечный вид выдавал сыщика: кому захочется в такую стужу и ветер без дела разгуливать, как в белые июньские ночи? Ясно, кто таков субъект в котелке. «Нас не надуешь». Владимир Ильич юрк в переулок. Субъект в котелке за ним. Подтвердилось, что сыщик. Владимир Ильич поднял воротник, нахлобучил шапку и быстро, по-деловому вперед. В ближайший переулок снова — юрк. Сыщик за ним. Охота затягивалась. Как-то надо улепетывать. Со стороны никто не подумал бы, что неторопливый молодой человек в нахлобученной от холода шапке, весь погруженный в себя, свои спокойные мысли, лихорадочно выискивает способ, как укрыться от преследователя. Внезапно свернул в третий раз. Сыщик не рассчитал, промчался вперед. А Владимир Ильич увидел в переулке роскошный подъезд богатого дома. Вот так шутка! Кресло швейцара в подъезде пустое. Мигом вбежал, сел в кресло, схватил со столика газету, уткнулся. Вовремя. Сыщик вскочил в переулок. А переулок пустой. Рысью пробежал сыщик мимо подъезда богатого дома. Владимир Ильич сидит в кресле швейцара, закрывшись газетным листом. Сквозь стеклянную дверь наблюдает, что дальше. Сыщик мимо подъезда туда-сюда, бешеный, лицо перекосилось от злобы. Еще бы! Почти в руках был улов...

— Не поймал?

— Не поймал.

— Как же в ссылку-то Владимир Ильич угодил?

— Это уж после.

Прошка провожал Сильвина до дома и возвращался обратно, переживая рассказ, придумывая свои к нему подробности. Фантазия летела, без препятствий строя сюжеты, в которых постепенно главным действующим лицом становился он, Прошка. Все приключения, опасные, дерзкие, были с ним, Прошкой...

За фантазиями ноги незаметно приносили к Ванеевым. У Ванеевых Прошка бывал каждый день. В большой комнате, где недавно происходило совещание семнадцати ссыльных социал-демократов, теперь все по-другому. Здесь живет маленький Толь. Всюду, на столе, табуретках, что-то наставлено, разложено, стопки пеленок, рубашечки, пузырьки, склянки, мази, масла, присыпки. Постелька белая, чистая. К постельке Прошка приближался на цыпочках.

Доминика с радостью встречала его:

— Кто к нам пришел? Дядя Проша пришел. Проша, ты с улицы, согрейся немного. Тише, не топай, не разбуди его. Погляди, он улыбается. Не веришь? Честное слово, уверяю тебя, сейчас улыбнулся во сне. Проша, взгляни, у него бровки наметились, он чернобровым будет, весь в отца. А губки какие хорошенькие, верно? Спи, мой маленький Толь, баю-бай.

Прошка нагибался над постелькой, устроенной в корзине из ивовых прутьев. Маленькому Толю Ванееву корзина перешла в наследство от Оли Лепешинской. Сморщенный, красненький, с пуговичным носиком лежал в ивовой корзине маленький Толь. Бурная жалость поднималась в Прошке. От жалости щипало в носу.

— Правда, мил ненаглядный мой? — шепотом восклицала Доминика, опуская ресницы, прикрывая нежный свет глаз.

Прошка старался быть полезным Ванеевой. Когда она говорила грустным голосом: «Проша, спасибо!» — он отвечал грубовато: «Чего там спасибо!» — и таскал воду для стирки пеленок, вздувал самовар, лазил за картошкой в подпол.

Главная же и незаменимая его польза была в том, что как раньше Доминика без конца рассказывала ему о Ванееве, так теперь изливала Прошке свои заботы и горести. Что им делать с маленьким Толем? Как им жить дальше? Куда им деваться? Нет телеграммы из дому.

— Свет не без добрых людей, Доминика Васильевна.

— Правда, правда, ты мудрец, Проша! Ты рассуждаешь, как настоящий мудрец. Что-нибудь придумается в конце концов. Образуется как-нибудь. Не вешай головы, маленький Толь. Ты еще и держать головенку свою не умеешь. Не будем падать духом, маленький Толь. Рассказать тебе об отце? «Хочу громадного счастья, хочу громадной доли!» Ах, как коротка была его жизнь. Как он ждал тебя, маленький Толь!

Она говорила, держась за края колыбели, раскинув руки над сыном, как птица крылья.

Раз под вечер, когда Прошка, чистя у печки на ужин картофель, выслушивал эти протяжные печальные речи, из сеней донеслось:

— Входите! Тулуп-то снимайте.

Хлопотливый голос хозяйки кого-то привечал в сенях.

— Истомились небось, дорога зимняя, вьюжная, без привычки-то растрясешься по сугробам до смерти, здесь они, сиротинки...

— Кто там? — замерла Доминика, покрываясь внезапной, как обморок, бледностью.

В два шага Прошка был у окна. Возле дома, почти упершись в ворота оглоблями, стояла запряженная парой кошева. Ямщик вытаскивал из кошевы узлы и кошелки. А в избу уже входила маленькая, щуплая, лет пятидесяти женщина, с красными, нажженными морозом щеками. В темные ямы провалились глаза. Стала у двери. Медленно, молча подняла к горлу крест-накрест ладони. Доминика закричала не своим голосом, кинулась к этой женщине, обхватила, целуя лицо ей и руки, несчетное число раз целуя.

Женщина уронила голову ей на плечо. Они стояли, прижавшись, не отпуская друг друга.

Та отстранилась наконец:

— Внука покажи.

Держась за руки, они подошли к корзине. Женщина нагнулась, у нее дрожало лицо.

— Внучок, сиротинка...

Вдруг откинулась и исступленно, шепотом:

— За что он его осиротил?

— Кто, мама? О чем вы?

— За что? За что ты отнял у него отца, господи? Осиротил до рождения? За что?

— Мама, полноте, милая, хорошая вы наша...

Доминика схватила ее морщини-

стые руки с толстыми жилами, гладила, прижимала к груди, целовала.

— Мама, полноте, мама!

— Как внука назвали? — утихнув, спросила мать.

— Анатолием.

— Я и надеялась. Спасибо. Сильно мучался Толюшко? Правду говори.

— Он тихо умер... Волгу все вспоминал, вас... Он вас любил...

— Рассказывай. Без утайки.

Мать не хотела ни выпить чаю, ни переодеться с дороги. Морозный румянец остывал у нее на щеках, сменяясь желтизной. Неутешная и гневная, она сидела на лавке, горько слушая рассказ Доминики о последних днях сына. Не могла, не хотела она мириться со смертью сына! «За что ты его покарал? Он ли был не хорош? За что же, немилосердный, неправедный бог?!»

Она взбунтовалась против бога, и сердце ее стало бесстрашным. Жена бедного чиновника из Нижнего Новгорода, нигде не бывавшая, кроме, может быть, двух-трех городов по месту службы мужа, не колеблясь собралась в неведомый путь, в чужую сторону, к невестке и внуку. Ни дальнего поезда не побоялась. Ни сотен верст с ямщиком по Сибири. Ни зимы, ни тайги...

На кладбище к Ванееву на другой день пришли все вместе с матерью, вся колония ссыльных. Снегом занесло кладбище. Над могилами поднимались сугробики. Монотонно стояли кресты. Над одним сугробиком креста не было. Лежала чугунная плита.

«Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. Умер 8 сентября 1899 г. 27 лет от роду. Мир праху твоему, товарищ».

Эту чугунную плиту и надпись к ней заказал на Абаканском чугунолитейном заводе Владимир Ильич.

Доминика принесла сына проститься с могилой отца.

«Прощай, Анатолий. Спасибо тебе, что я тебя знала. Обещаю, сына выращу честным. Прощай, мой большой Толь, мой любимый».

Она стала в снег на колени, прижимая к груди теплый сверток. Из пуховых платков и одеялец слабо слышалось тихое дыхание сына. «Простись с отцом, маленький Толь».

Было морозное утро. Снег на кладбище лежал свежий и чистый, искрясь и блистая на солнце.

Спустя несколько дней подъехала к воротам запряженная парой крытая кошева. На заднем сиденье ворох умятого сена. Поверху сена положили одеяла. Усадили на одеяла Доминику со свекровью. Дали в руки Доминике сверток с сыном. Запахнули на отъезжающих потуже тулупы. Подоткнули одеяла. Насовали в ноги узелки с подорожными. «Здоровы будьте, долгой жизни желаем, сына расти, Доминика, не забывай, помни, помни!»

И тройка понесла кибитку, увозя из села Ермаковского маленького Толя Ванеева.

Что будет с ним? Какая судьба ждет его?

О судьбе его можно было бы рассказать долгий рассказ. Это была бы повесть о поколении, которое восемнадцатилетним вступило в Великий Октябрь. Для которого Ленин был знаменем, совестью и вождем революции. Которое отвоевывало от белогвардейцев и интервентов и отвоевало Октябрь. Строило заводы и шахты. Наводило мосты. Прокладывало дороги. Училось. Создавало Советскую страну и во все времена верило Ленину. И было оттого смелым и честным.

Которое в расцвете сил и творчества отбивало от нашествия Гитлера наше Отечество.

Маленький Толь в 1941 году был давно инженером. С первых дней войны надел шинель, стал солдатом. Какая судьба! Анатолию Ванееву выпало защищать Ленин-



град. Город Ленина, город отца.

Почти полвека назад его отец вместе с Лениным начинали здесь путь к революции.

Под бомбами и артиллерийским огнем, в виду фашистских танков, под зловещим крылом самолета с черной свастикой, Анатолий Ванеев, ты думал: «Город Ленина, город отца...»

Ты вспоминал рассказы матери, как Ленин создавал в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и твой отец был верным помощником Ленина. Город Ленина, город отца.

Осенью 1941 года Анатолий Ванеев погиб под Ленинградом.

На Пискаревском кладбище в Ленинграде на каменной стене высечены слова, посвященные памяти многих тысяч героев. Среди многих тысяч инженер Анатолий Анатольевич Ванеев.

Здесь лежат ленинградцы,
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить
не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто.

21

В сумерках Прошка вез из омета солому.

Покрикивал, как заправский мужик.

— Ты, шевелись, пошевеливайсь! — похлестывал безотказную бабки Степаниды кобылу по прозвищу «Зорька».

Докторский сын с деревянным коньком под мышкой бежал мимо кататься с горы.

— Прохор, а папа завтра ранымрано в Шушенское едет. Больного лечить. Урок по немецкому выучил? Ich schreibe, du schreibst... Schreiben какого спряжения? А? Э! Что! Товарищ Прохор, вы заслужили по немецкому кол.

Докторский сын начертил пальцем в воздухе угрожающий товарищу Прохору кол и исчез.

Говорите после этого, что случайности не играют роли в жизни. Что касается Прошки, в его жизни счастливые и несчастливые случаи играли прямо-таки поразительную роль. Не догони на дороге от омета докторский сын, не скажи безо всякого к тому повода о завтрашней поездке Семена Михеевича в Шушенское, ничего Прошка не знал бы. Правда, оказии из Ермаковского в Шушенское случались нередко, но ехать в эту дорогу Прошке куда способнее было с доктором, чем с чужим мужиком. Смекалка подсказывала, с доктором вернее отпустят.

Живо, живо управился с соломой, распряг Зорьку, поставил в хлев и пошел к писарю отпрашиваться на завтра в Шушенское. Вечер. На волостном правлении грузно повис ржавый замок, охраняя казенные бумаги и волостную печать. До завтра служба закрыта.

«Домой схожу к писарю, не упускать же такую оказию! Подольщусь «господином»...»

Ермаковский ссыльный рабочий Панин, по внешности напоминающий писателя Гаршина, корил Прошку, что слуге царизма на уступку идет. «Зубы сжать надо. И молчать. А ты — господином».

— Слуге царизма на уступки иду? Черта с два! Для своей пользы обдуриваю.

Вот как! Неужели наш простодушный и доверчивый Прошка, книгочий и немного простофиля, у которого в большущих, чуть подсиненных глазах вечно стоит любопытство, словно постоянно им открывается новое,— неужели Прошка научился быть дипломатом?

Научился до некоторой степени. Житейский опыт не совсем прошел даром. Студент Петр Белогорский, тюрьма, молодой, безжалостный от

старания выполнить службу следователь, мачеха, каменная глыба с подобранными в нитку губами, отец, расплескивающий под ее непреклонным взором чугунок с похлебкой, испугавшийся пустить на ночевку школьный товарищ — вот Прошкин житейский опыт, после которого больше не думает он, что люди все одного цвета. Люди — братья, как учил в школе поп? Не-ет, теперь Прошка знает, не все люди братья. Стал различать: здесь друзья, а там... С друзьями один разговор, с писарем из волостного правления — другой.

В жарко натопленной избе семья писаря сидела за вечерним чаем. На столе желтый, как золото, ведерный самовар еще струил из трубы угарный голубоватый дымок. Писарь в расстегнутой рубахе, с волосатой, как войлок, грудью, вытирал концом полотенца сытое, пятнистое от веснушек лицо в кучерявой бороде.

— Господин писарь, дозвольте...

Жена, тоже сытая, потная, проворно опустила на стол блюдце с чаем, обратив к мужу замаслившийся взор.

«А чем не господин? Господин и есть. Вся власть в руках. Поп и тот перед нами шапку ломает».

— Чего тебе в Шушенском надобно?

— Товарищ там... день рождения.

— У людей будни, у них всё дни рождения.

Писарь силился сохранить строгость, но лицо от «господина» расплывалось блином.

Выехали не самым ранним утром, но до обеда задолго. Доктор Арканов захватил свой докторский чемоданчик с инструментами и лекарствами, и они покатили в легком возочке, покрытом на сиденье поверху сена попоной.

— Видите ли, Прохор Артемьевич,— интеллигентным тенором проникновенно говорил доктор Арканов, когда село Ермаковское скрылось позади в волнистых снегах и возок их легко скользил по накатанному следу лесного пути и величавые сосны и гигантские осины безмолвными стражами выступали из тайги вдоль дороги.— Видите ли, Прохор Артемьевич, с некоторых пор село Шушенское стало особенно мне интересным благодаря одному человеку. В университетские годы, поверьте, мне выпало счастье общаться в людьми незаурядными, даже блестящими. И тем более ценю я выдающийся интеллект Владимира Ильича! Ученый, философ, политик, юрист! В его книгах, в частности я имею в виду «Экономические этюды» и «Развитие капитализма в России», в них, этих книгах, рассмотрен процесс формирования общественных классов, диалектика развития общества — колоссального значения труд! Но что меня, человека, уже по профессии своей чуткого к нравственным вопросам, волнует особенно, это то, что ученый, живущий в сфере сложнейших умственных и философских проблем, спешит откликнуться на обычные нужды. Возьмем Оскара Энгберга...

Доктору Арканову вспомнился Энгберг. С чего бы? А вот с чего. Вчера получил Семен Михеевич письмо, из-за которого и покатил сегодня навещать своих шушенских пациентов, которых участковому врачу время от времени положено было проведывать.

Уважаемый г. доктор!

Если Ваши служебные обязанности позволяют, то не будете ли Вы так добры зайти вечером к моему больному товарищу Оскару Александровичу Энгбергу (который живет в доме Ивана Сосипатыча Ермолаева). Он уже третий день лежит, страдая от сильной боли в животе, рвоты, поноса, так что мы думаем, не отравление ли это?

Примите уверение в искреннем уважении.

Влад. Ульянов.

— Так вот, Оскар Энгберг, довольно рядовой, говоря откровенно, рабочий, а каково отношение к нему Владимира Ильича? Или вспомним Ванеева... У Владимира Ильича дар быть товарищем! Вот что волнует. Разумеется, его исследования, марксистский анализ развития общества...

Доктор вволю потолковал о марксистском анализе, после чего перешел к обсуждению противоположных философских систем, но Прошка уже невнимательно слушал. Кивал, а думал о другом. «У Владимира Ильича дар быть товарищем!» Прошка это и до доктора понял. Тогда, на кладбище, понял...

Прошка рвался увидеть Владимира Ильича. Вспоминал его голос,— такого голоса Прошка ни у кого не слыхал! — его искристый взгляд, заботливые советы: «Бодрее живите, учитесь».

Прошке хотелось порассказать о себе, что живет он в селе Ермаковском бодро, времени зря не теряет, учится вовсю. Наверное, Владимир Ильич обрадуется. К Владимиру Ильичу у него было такое жаркое чувство, будто был он Прошке самым близким и родным человеком. А что вы думаете, их многое связывало! Подольск связывал, прочитанные Прошкой политические книги, которые ему давал Михаил Александрович Сильвин, мысли о будущем.

Но и другое звало Прошку в Шушенское. Конечно же Паша! Он не мог забыть, как она тогда убежала. Он сунул ей в карман мамкины варежки, а она вырвалась от него и убежала, топая чирками по окаменелой земле. Мороз сковал дорогу. Прошка слушал, как топают ее чирки вдали. Обиделся, может быть, думаете вы?

Милая, милая! Веселенькая, синеглазая, единственная Прошкина любовь.

«Убежала? А что же? На шею парню с первого раза кидаться? За что и люблю, что неуступчивая, гордая. Не отдам тебя, Паша! Не уедешь ты в Польшу. Не пущу тебя в Польшу. Кончится ссылка, поедешь со мной».

Вот что должен Прошка высказать своему другу и товарищу Леопольду Проминскому. «Почему должен? Не знаю. Должен».

Между тем, незаметно возочек их пролетел пятьдесят верст степной и таежной дороги и бойко катил широкой шушенской улицей, подпрыгивая на снежных ухабах. Шушенское занесло, замело озорными первыми вьюгами. Завиваясь на краях, привалились к заборам сугробы. Стало теснее на улицах. Под полозьями визжал звонкий снег. Журавель колодца клонил длинную шею, встречая поклоном приезжих,— баба поднимала из колодца воду в бадье.

Возле одной худенькой, невидной избенки стоял в накинутом на плечи полушубке хозяин Иван Сосипатыч.

— Сюда, во двор, заворачивайте, ставьте кобылу. Мой постоялец-то, ўж как его забрало, сердешного, ночью надрожались, не помер бы.

И, торопливо шаркая подшитыми валенками, разводил кривые ворота на двор.

Юркий, тощенький, с легкими волосенками, стоявшими дыбом, образуя надо лбом как бы сияние, Сосипатыч был напуган болезнью постояльца и отчасти тщеславился, что к его ничем не знаменитой, вовсе плохонькой даже избушке подкатил вон какой щеголеватый возок, вылез господин в лисьей шубе с городским чемоданчиком — вчера только Владимир Ильич письмо написал, а нынче и доктор тут как тут.

Уважают люди политика нашего Владимира Ильича! Башковитый, ничего не скажешь, политик, ума палата.

Оскар Энгберг лежал нечесаный, щеки запали, усики его, всегда хо-

леные, уныло повисли, вид являл он печальный. Из потрескавшихся губ неровно вырывалось дыхание, глаза глядели мутно, не хотели глядеть.

— Николай заступник, святой Пантелеймон! — без смысла бормотала и крестилась хозяйка, пугая бедного Оскара причитаниями и жалостливыми взглядами.

— Хозяюшка! Помолились божьим угодникам, ее величество медицина вступает в права,— замысловато объявил доктор, раскрыв руки и тесня ее к печке. Заодно потеснил хозяина и Прошку туда же.

Хозяйка крестилась за занавеской у печки. Хозяин курил, шепотком делясь с Прошкой, как они с постояльцем ходили на Перово озеро стрелять уток. И Владимир Ильич с Женькой своей соберется, бывало, азартный, не оторвешь от ружья! А уж Оскар Александрович вовсе ненасытным охотником был...

«Был! — царапнуло Прошку.— Неужто опять беда?»

Но оттуда, от кровати больного, доносился невозмутимый докторский тенор, назначавший лечение и мудреные, по-латыни, лекарства. Услышав латынь, хозяйка пуще разгоревалась:

— Молоденький, холостой, помрет, схоронят на чужой стороне, а помянуть некому.

Между тем Оскар уже от одного появления доктора стал поправляться. Уже не лежал плашмя в покорной тоске, в глазах трепыхнулась живинка. Расхрабрился, запросил испить кисленького. Кисленького, то есть клюквенного настою, доктор позволил и долго повторял и внушал, как лечиться, твердил по-латыни названья лекарств. На душе у всех полегчало: видно, Оскара Энгберга хоронить на чужой стороне не придется, и Прошка, условившись, где и когда встретится с Семеном Михеевичем, чтобы ехать домой, пошел к Леопольду.

— Поклон им навсегда! — наказал Оскар Энгберг.

Почему навсегда? Прошке некогда раздумывать над поклонами Энгберга. Скорей к Леопольду!

Запутанная жизнь. Бежать бы со всех ног в тихую, уютную улочку, где над Шушей стоит дом с двумя колоннами на деревянном крылечке. Там синеглазая Паша. Насмешница Елизавета Васильевна. Владимир Ильич. «Рабочий класс» Прошка, бежать бы тебе к Владимиру Ильичу Ульянову! А он сначала бежал к Леопольду. Зачем? Ведь скоро уедет Леопольд. Долго ехать до Польши из села Шушенского, Минусинского округа, Енисейской губернии. Когда-то доедешь! Когда-то приплетется из Польши письмо до Красноярска по железной дороге, от Красноярска на перекладных, как сто лет назад. Сколько дней, недель, месяцев проползет в ожиданиях, пока Паша кинется в ноги: «Батюшка, матушка, отпустите в город Лодзь!»

А вы верите, что в жизнь свою не видавшие железной дороги (она всего третий год и идет по Сибири), в жизнь свою не бывавшие дальше Минусинска батюшка с матушкой отпустят дочь Пашу в дымный фабричный город Лодзь? Неведомо куда, в Польшу? Они про Польшу по политическим только и знают.

Прошка, может, схитрить? Утаить? Вот уедет Леопольд...

Нет, он шел. В шубейке нараспашку, обмотав шею шарфом (Дмитрия Ильича теплым, в клетку шарфом), шагал. «Не хочу таить, Леопольд, ты уедешь, а я ее люблю».

Шагал по аршину, размахивая руками. Чем дальше — тише. Возле избы вовсе стал, словно чего-то надеясь дождаться. Постоял, не дождался и вошел в сени не очень смелыми шагами. Из избы неслись возгласы. Там спорили голоса. Женский, плачущий:

— Сил нет больше терпеть. Уста-

ла я. Матка боска, кеды будет конец?

Мужской, неуверенный, стараясь бодриться:

— Текла, Текла, семья твоя при тебе, дети здоровы, муж не в тюрьме запертой, а нынче и вовсе на воле, не гневи свою матку боску, нашлет настоящей беды.

Женский, сердясь, негодуя:

— Это ль не беда? Смеешься, муженек? Смейся над моими слезами.

Мужской:

— Текла, Текла, тебе легче, что плачешь.

Прошка стукнул в дверь и рывком отворил. Что у них! По всей избе валяются вещи, тряпки; наполовину полный одежды, стоит раскрытый сундук, вязки тугих оранжевых луковиц, ящики — пустой и с посудой, переложенной сеном; опрокинутый табурет, печные горшки на полу, приставленный к оконной раме кверху рогами ухват, и посреди этого столпотворения мужчина и женщина. Он с запорожскими усами, как на картине Репина, только очень уж истомленный и сумрачный; она бледнолицая, чернобровая, из глаз так и брызжут гневные искры, — Прошка мгновенно узнал мать Леопольда. По лавкам расселись мальчишки и девчонки разных возрастов (что-то много, показалось Прошке), серьезные, с ломтями посоленного хлеба.

— Дзень добрый. Чего пану тшеба? — спросила мать с вызовом подперев бок кулаком: «Ну, беспорядок, ну, бедность и ребят орава, ну и что? Мы не жалуемся, а вас не просим жалеть». — Пану тшеба наш старший сын Леопольд? — Повела плечом: — Там.

Прошка шагнул за перегородку в другую половину избы. Леопольд копался там в ворохе книг. Что-то прибитое было в нем. Нервно подрагивали ноздри тонкого носа. Увидел Прошку, опустились руки.

— Несчастье. В Польшу не едем.

Им отказали в пособии. Без пособия не доехать до дому. Насмеялись над ними. Когда мать поднялась из Лодзи в Сибирь к отцу со всеми ребятами, начальство сулило, на обратную дорогу будет пособие, закон есть такой. Владимир Ильич писал им прошение. Владимир Ильич знает законы. Их обманули. Разве бы мать бросила дом? Э! В доме ли дело? Что дом? Полуподвал из двух комнатушек! У них Польша была. Вся Польша принадлежала Проминским, родина. Лодзь с фабричными заводскими гудками. По утрам гудки ревели, пели, как трубы. Как оркестр медных труб, у каждой свой голос, то высокий, то низкий, призывный; многоголосо сзывали фабричные гудки народ на работу, улицы заливало рабочими куртками. Леопольд мечтал быть с лодзинским рабочим классом! Там его Польша. Истоптанная чужими солдатскими сапогами, негнущаяся. Домой, домой! Ах, тоска...

— Матка боска, да я ж совсем потерялась с этим нашим добром! — слышалось из той половины избы.— Ян мой милый, скажи хоть ты, брать нам ухват или можно пусть остается?

— Давай книги связывать, — хмуро бросил Леопольд.

У Прошки не повертывался язык спросить, куда они уезжают. Неизвестно отчего, Прошка чувствовал перед Леопольдом вину.

Книг не так было много. Вот эту подарил Владимир Ильич. И эту! Вся душа всколыхнулась у Прошки при виде пестренькой, с коричневыми наугольничками книги, точь-в-точь как та, петербургская, которую когда-то с таким волнением он проглотил в одну ночь! «Школьные товарищи. Сочинение Эдмондо д'Амичиса. Перевод с итальянского...» Вот где он ее снова нашел, эту добрую книгу. Сразу встали перед глазами

Ульяновы, все, с кем встречался. В душе вспыхнуло то небудничное, чистое, что всегда поднимали в нем встречи с Ульяновыми. Нечастые встречи, а вся Прошкина жизнь просветлена и пронизана ими.

До позднего вечера в избе Проминских была суматоха. Никто не знал толком, что делать, за что браться.

— Матка боска, пропадаю, совсем пропадаю!

Однако с появлением Прошки пани Текле прибавилось энергии. Прошка живо заделался ее главным помощником. Упаковывал, заколачивал, связывал. Пани Текле оставалось командовать.

— Забивайте ящик с посудой, пан Прохор! А ухват возьмем. Что за жизнь без ухвата? И борща не сварить без ухвата. Леопольд, куда ты мою юбку суешь? Матка боска, да зто ж та самая юбка, которую я надевала, когда ходила в Лодзи молиться в костел. Ян мой милы, може найдешь еднз мейсце для моей праздничной юбки? Зося! Броня! Стасик! Тащите от печки чугун. Как мы его повезем, зтот великий чугун! Нет, я умру... Матка боска!

Настали сумерки. В сумерки за Прошкой заехал доктор Арканов.

— Пан Прохор не останется нас проводить? — увидев под окошком возок, огорчилась мать Леопольда.

— Ты не останешься? — надменно и просительно уронил Леопольд.

И Прошка сочинил доктору сказку, что писарь отпустил его в Шушенское на столько дней, сколько душе пожелается.

— Исключительный случай, — удивился доктор, но спорить не стал и уехал один.

— Пан Прохор, зашивайте мешок, — с новым подъемом принялась распоряжаться Текла Проминская.— А ты, Леопольд, будто чужой человек, будто чужое тебе наше добро...

— Мама, не надо! — поморщился он.

В последний раз сели Проминские ужинать за шушенский стол. После ужина детей сморил сон, улеглись где попало, по лавкам, на печке.

«Леопольд! Неужели так и не поговорим напоследок?» — молча спрашивал Прошка.

Отец набивал трубку, долго приминая пальцем табак. Давно уже набита трубка, а он все тычет пальцем, все уминает табак, а думает не о трубке, совсем о другом.

Чу! Шаги в сенях. Пришли. Пришли все-таки! А как же ты думал, товарищ Ян Проминский? Неужели ты сомневался?

— Пани Текла! — растроганно восклицала Надежда Константиновна, держа и любовно гладя обе ее руки.— Пани Текла! Сколько милого с вами уходит, пережитого вместе. Серьезного, печального и радостного. Целая полоса жизни уходит...

Бурно, больно забилось сердце у Прошки. Еще не увидя, он знал: Паша здесь.

Она была в желтом дубленом полушубке, цветной шали и нестерпимо грустной показалась Прошке в этой яркой одежде. Стала у порога, засунула руки в рукава и простояла не двигаясь, без улыбки и слова, пока Надежда Константиновна и Владимир Ильич прощались с Проминскими.

— Итак, завтра навсегда прощай Шушенское,— душевно говорил Владимир Ильич. — Удастся ли встретиться? Удастся или нет, спасибо за дружбу, товарищ Ян. За охоту, за песни, за Первое мая. Помните, как весело, с красными флагами мы встречали Первое мая. За вашу революционную стойкость спасибо.

— Дзенькуе, Владимир Ильич. А что, Владимир Ильич,— потягивая запорожский ус, сказал Ян Проминский,— не по нашему обычаю

у нас свидание идет. По нашему обычаю так.

Он тихо запел глуховатым низким голосом:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Владимир Ильич подхватил, вполголоса вторя:

В бой роковой мы вступили с врагами...

Почти шепотом Надежда Константиновна:

Нас еще судьбы безвестные ждут.

Леопольд вытянулся, словно давая присягу, и негромко, четко, отрубая слова:

Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Мороз прошел по коже у Прошки от их тихого пения, от их слов, похожих на клятву.

— Не забывай, Леопольд! — задумчиво сказал Владимир Ильич, когда кончили петь.

— Никогда!

Владимир Ильич с Надеждой Константиновной простились, ушли. Паша пропустила их из избы. Молча, в пояс поклонилась матери и отцу Леопольда. Прошке чуть кивнула откуда-то издали.

Растерянный, смятый, стоял Леопольд, словно ураган над ним пролетел. Опомнился. Загреб в охапку треух, дошку и — вон.

— Яка ясна паненка,— сказала мать с мечтательной улыбкой.— Нашего сына старшего ясна паненка.

Отец промолчал, приминая пальцем в трубке табак.

— Что за люди Ульяновы! — сказала пани Текла. — Не знаю, есть ли еще на свете таци добжи людзе, нови людзе.

Леопольду и Прошке постелили в той половине избы на полу лоскутное одеяло, бросили под головы чью-то одежонку. Прошка лег. Укрылся шубейкой.

Белая полная луна висела в окне. Лила смутный свет белая от лунного снега беззвучная ночь. Суматошный сегодняшний день колесом вертелся в голове. Высились перед глазами осыпанные снегом сосны тайги, подпирая вершинами утреннее синее небо. Зимний лес, величавый.

Вдруг все сменяется. Духота, теснота, шум, мусор избы. Надрывный зов пани Теклы в ушах: «Пан Прохор, зашивайте мешки!» Паша у порога в желтом дубленом полушубке. «Вихри враждебные веют над нами...» Паша так и простояла без слов. Как долго не идет Леопольд! И с Леопольдом за весь день ни о чем не сказали. Как долго он не возвращается.

Белая луна отодвинулась от окошка. Углы в избе потемнели. Слышно, прокричал петух во дворе.

Леопольд вошел на цыпочках, бесшумно, разулся, лег возле Прошки. Лежали долго, не говоря.

— Прошка, не спишь, я слышу, — наконец прошептал Леопольд.

— Не сплю.

— О чем ты думаешь, Прошка?

— О жизни.

Леопольд поднялся рывком, сел, обхватив колени руками. В белесоватом сумраке ночи Прошка видел его прямой профиль, длинную черную бровь.

— Если бы мы уезжали в Польшу, я надеялся, она к нам приедет. Был уверен, приедет. А сейчас почему-то думаю, нет. Знаю, уверен, что нет. Никогда не увижу ее. Она не приедет. Прошка, как я несчастлив!

— Леопольд, не надо... не горюй так, Леопольд! — растерянно утешал Прошка и не верил, что можно утешить.

— Прошка, скажи ей, что всю жизнь буду помнить. Никогда не разлюблю. Скажешь?



— Сам бы сказал.

— Говорил. Завтра передай еще от меня. Передашь?

— Передам.

Леопольд лег на спину, закинул под голову руки, вытянулся и лежал неподвижно. Глядел в потолок: «Я несчастлив. Как я несчастлив».

22

Желтизна на востоке слабо светлила мглистое небо. Глубоко где-то за мглой встало солнце. Нынче не выбиться солнцу из набухших снегами серых туч, низко накрывших просыпавшееся после ночи село Шушенское. Невеселое начиналось утро. Распахнуты ворота во двор. Дверь в избу не прикрыта. Два санных следа ведут со двора. Проминские уехали затемно.

Прошка шел по снегу, придерживая за пазухой книжку «Школьные товарищи», обменял у Леопольда на Максима Горького.

Который раз за свои недолгие годы Прошка расставался! Дорогое, что только-только нашел, обрывалось в его жизни, оставляя на душе пустоту.

Проминские уехали в Красноярск, служить на железную дорогу. Кржижановские и Старковы из Минусинска уехали. Все уезжают. Михаила Александровича Сильвина признали годным в солдаты, скоро заберут. Не останется и Прошкина учительница в Сибири без мужа. Кончается срок у Лепешинских. Три последних месяца доживать в ссылке Ульяновым. Все уезжают...

Плохо, Прошка, придется тебе. И за вчерашнее самовольство придется ответить. Какое наказание писарь припишет? Зашлет на край света, на самый Северный полюс. Тут тебе и конец.

Пока что Прошка брел по селу в направлении слепенькой, под снеговой шапкой избенки Сосипатыча проведывать больного Оскара.

В избах топили печи, дым из труб стелился над крышами; повизгивали, нагибаясь, журавли колодцев; слышались голоса за заборами, глухо-наглухо отгородившими дворы от улицы; слышно было хруст снега, мычание коров — задавали скотине корм.

На столе у Сосипатыча валил горячий вкусный пар из чугуна с картофелем.

— Садись, парень, гостем будешь,— хлопотал Сосипатыч.— Крепенького нет, за здоровье постояльца нашего с радости-то маленько бы...

Оскар Энгберг, слабый и бледный, лежал, однако, совсем не тот, что вчера. Побритый, с прямым, как линеечка, левым пробором, аккуратно подкрученными светлыми усиками. В голове у него уже строились планы на будущее.

— С постели поднимусь, вон инструменты мои дожидаются.

Эти инструменты Надежда Константиновна, когда ехала в ссылку, привезла из России. Владимир Ильич написал, что, мол, есть у меня в Шушенском товарищ, рабочий Оскар Энгберг, мастер ювелирной работы, тоскует без дела, и на прожитие с теми инструментами заработать бы можно...

Надежда Константиновна по просьбе Владимира Ильича привезла Энгбергу набор инструментов, а они не легонькие, тяжелую корзиночку Надежда Константиновна привезла для Оскара.

...У Прошки за пазухой книжка, перевод А. Ульяновой. Владимир Ильич спрашивал в письме к матери: разве итальянский писатель д'Амичис, которого перевела Анюта, пишет для детей? Он не знал, что Анюта перевела детскую книжку. Детскую? Отлично! Пришлите, пожалуйста. Непременно пришлите ребятам Проминского!

...Оскар Энгберг выкладывал Прошке планы, что день-другой полежит, как велел доктор, а встанет

от болезни, примется изготовлять Надежде Константиновне к отъезду из ссылки подарок. Брошь в виде книжки. Выгравировано будет на книжке: Карл Маркс. На память. Чтобы помнила, как учила Оскара Энгберга понимать «Капитал» Карла Маркса, разбираться в политике. Чтобы помнила, какая пригожая приехала в Шушенское, приятная, тоненькая, будто молодая березка. Улыбнется — окошко в весенний сад распахнулось!

Впрочем... Оскару Энгбергу помнить об этом. А Надежда Константиновна повезет из Шушенского брошь в виде книжки.

...Небо все ниже нависало. Сизое, снеговое. А утро, однако, посветлело немного, и Прошка, пожелав доброго здоровья Оскару и удачной охоты Сосипатычу, пошагал в тихую улочку над рекой Шушей. Реку Шушу и не разглядеть бы под снегом, да убитая валенками тропка вела к проруби, круглому омутцу с зелеными гладкими краями, над которыми тонко дымилась белым паром ледяная вода. Наверное, Паша ходит к этой проруби полоскать белье.

Она охнула, когда он вошел в дом. Тихо: «Ой!» И опустилась на лавку, словно без сил. Вчера не заметила Прошку. Ничего не сказала. Даже «здравствуй» не сказала.

Наверное, она тоже не спала эту ночь, глаза ее были без блеска, без искр.

— Глядите, кто к нам пожаловал! — воскликнула Елизавета Васильевна.— К нам питерский печатник пожаловал, товарищ Прохор. Идите садитесь за стол. Пашенька, деточка, чайку бы! А может, он и есть хочет? Может, он голодный? Не стесняйтесь, Проша. Я еще с питерских времен привыкла вашего брата кормить.

Добрая Елизавета Васильевна Крупская! Прошка не знал о поручике Константине Игнатьевиче, который на площади уездного польского городка разгонял из пистолета жандармов и лавочников, издевавшихся над евреями и польским народом во славу российской императорской власти. Прошка не знал о поручике Крупском. Леопольд не успел рассказать. Ведь они всего два раза и виделись с Леопольдом Проминским.

— Так что же, товарищ рабочий-печатник, значит, Дворцовая площадь, Петр Первый на коне?..— лукаво щурилась Елизавета Васильевна, напоминая, как в ту встречу они состязались, кто лучше знает знаменитые в Петербурге места и памятники.

Тогда был вечер. На столе на круглом подносе фыркал и бурлил самовар, Елизавета Васильевна была весела и смешлива, и Прошка даже думать забыл, что его выслали в ссылку. Думал, хорошо жить! Сейчас он опять сидел здесь за чаем. Надежда Константиновна в темном платье, в котором совсем была тоненькой, в легком пуховом платке ходила по комнате маленькими шажками. Иногда останавливалась, придерживая платок у подбородка.

Если бы на месте Прошки был Леопольд, удивился бы, что Надежда Константиновна ходит. Ведь это у Владимира Ильича привычка ходить. Прошка не знал их привычек, но беспокойство Надежды Константиновны передавалось ему. Надежда Константиновна была неспокойна. Вспомнилась питерская жизнь, вдруг вспомнилась, вспомнилась вся! Увидела товарища Прохора, подручного печатника из типолитографии Лейферта, и поняла, как соскучилась, стосковалась о питерских рабочих кружках и вечерних классах, где была учительницей. Как любила свою должность, которую надо было скрывать от полиции. Как старательно готовилась к лекциям, с подъемом, волнением. Как ее любили и уважали ученики. И как это было все хорошо.

— Когда живешь среди рабочего класса, хоть частью живешь, уди-

вительно чувствуешь силу и значительность жизни. Я не говорю обо всех подряд рабочих, я говорю о рабочем классе, молодом, на который историей возложена миссия... А в то же время интересно, страшно важно и с каждым отдельно рабочим! Живые люди. Не отвлеченные понятия, а живые, очень разные, серьезные люди. Ах, что-то запечалилась я.

— Это отъезд Проминских на тебя подействовал,— сказала мать.

— Конечно, подействовал. Хорошо, когда знаешь, зачем живешь, когда перед тобой большая задача.— Надежда Константиновна подошла к ней, обняла: — Родная моя.

После чугуна с горячим картофелем у Сосипатыча Прошка через силу одолел пышку, подсунутую ему Елизаветой Васильевной. Допил чай. Перевернул чашку вверх дном, как приучила бабка Степанида, блюдя свои строгие правила. Положил на дно чашки огрызок сахару и подумал с грустью, что пора в Ермаковское. Сказал спасибо за чай, сказал, что ермаковские кланяются, здоровья желают, а ему, Прошке, нельзя ли перед уходом Владимира Ильича повидать?

— Важное дело? — спросила Надежда Константиновна.

— Нет, дела важного нет. Просто повидать.

Надежда Константиновна пытливо на него поглядела и, ничего не ответив, ушла в ту комнату, где Прошке быть пока не пришлось. Прошка еще не видел конторку с перильцами и лампу под зеленым абажуром, всегда на одном месте, у перилец, в левом углу. Владимир Ильич работал каждый день допоздна. Светит в окно ночью зеленая лампа. Тысячи верст вокруг. Все ночь, ночь. Все Сибирь да Сибирь. Все тайга. Одна горит зеленая лампа в окошке...

Владимир Ильич за конторкой писал. Остро отточенный карандаш без остановки бежал по листу. Надежда Константиновна знала его манеру писать. Быстро, быстро, быстро! Она любила его манеру страшно быстро писать. Когда любишь человека, все любишь в нем.

Надежда Константиновна присела к столу. Там ее дожидались переводы, рукопись книги «Женщина-работница», которую она с таким увлечением писала. Но сейчас она пришла не затем, чтобы работать. Она облокотилась на стол, подперла подбородок ладонями. Так могла она долго молча сидеть, когда Владимир Ильич работал у конторки. Он оторвался от листа.

«Ты вошла, милая, побудь здесь, погоди, надо кончить, не упустить одно важное...» — сказал его мгновенный взгляд, ласковый и тут же ушедший в себя, в свою мысль.

Он снова писал. Надежда Константиновна думала о том, как он много работает. Слишком много! Стал плохо спать. Похудел. Нервным стал. Посреди разговора иногда оборвет нить, умолкнет, молчит. Три месяца осталось жить в Шушенском. Три самых трудных за всю ссылку месяца! Вся его душа, весь его ум, все его существо сосредоточились на ожидании будущего, теперь близкого будущего; чем ближе, тем нетерпеливее рвется Владимир Ильич к практической деятельности, восстановлению и созданию партии!

То, что Владимир Ильич обдумывал сейчас и писал, была статья для «Рабочей газеты», которую год назад на Первом съезде партии в Минске признали официальным партийным органом. Участники Первого съезда почти все арестованы. Полиция преследовала газету. Вышли только два номера. Окольными путями Владимира Ильича известили, что товарищи пытаются возобновить выпуск «Рабочей газеты». Он писал для нее. Может быть, не удастся опубликовать в «Рабочей газете» эти статьи. Но важно было их написать.

«Мы стоим всецело на почве теории Маркса: она впервые превратила социализм из утопии в науку... Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса, как на нечто законченное и неприкосновенное... Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса... В России не только рабочие, но и все граждане лишены политических прав. Россия — монархия самодержавная, неограниченная. Царь один издает законы, назначает чиновников и надзирает за ними».

В эти последние нетерпеливые месяцы ссылки Владимир Ильич обдумывал программу политической борьбы рабочего класса. Борьбы против царя, против бесправия. Полицейщины. Эксплуатации.

За социализм. За новое общество.

Все яснее виделся ему проект Программы революционной рабочей партии.

Надежда Константиновна куталась в пуховый платок — так уютнее думать... В планах и Программе Владимира Ильича нет ничего фантастического. Никакой фразы нет. Все реально, практично, жизненно. И есть сила мечты. Разве идеал это то, что никогда не сбывается? К чему идут, идут и никогда не приходят? Но убедительность Программы, которую для Российской рабочей партии создавал Владимир Ильич, как раз в том, что она зовет идти к реальному. Нам, людям нашего поколения, идти. Дойдем?..

Владимир Ильич оставил писать за конторкой и подошел к ней.

— Что, Надюша?

— Так, задумалась,— улыбнулась она.— Володя, а знаешь, там Прошка... Товарищ Прохор.

Прошка с первой встречи вызвал у них обоих симпатию. Владимир Ильич чувствовал, парень тянется к ним, к революционному делу. И, наверное, не уйдет с пути, который искал в Питере ощупью, а сейчас все сознательнее.

— Итак, учитесь? — спросил Владимир Ильич, выходя к нему в другую комнату. — Всерьез? Ежедневно? Молодцом! Михаил Александрович Сильвин лекции о французской революции читает? Смотри-ка, Надя, как далеко наш товарищ Прохор шагнул! Вот вы рассказывали, товарищ Прохор, что и о философии на уроках толкуете? А знаете ли вы, какая разница между философами прежних времен и марксистами, философами нашего времени? Какая большущая и принципиальная разница?

Если бы Владимир Ильич думал, что Прошка, окончивший всего лишь четыре класса городской начальной школы в Подольске, предан не тому основному, что направляет жизнь передовых рабочих, а чему-то другому, бытовому, житейскому, он не стал бы с ним так говорить. Но Владимир Ильич чувствовал в Прошке отклик на свои сокровенные, отчаянно смелые мысли. И потому говорил с ним о важном и крупном, самом существенном, что вытекало из его сегодняшней работы за конторкой, что отвечало раздумьям Надежды Константиновны.

Он говорил о том, что философы прежних времен только объясняли мир, а философы наших взглядов, нашего времени хотят переделывать мир. Вот в чем существенная разница.

— Мы поняли мир. Объяснили. И будем переделывать.

— Я думаю, уже наше поколение... — сказала Надежда Константиновна.

— Да! — подхватил Владимир Ильич.— Уже наше поколение, товарищ Прохор, а ваше тем более, дойдет до цели. Добьется намеченного. Потому что мы знаем, чего нам надо: переделать мир. Страшно важно, товарищ Прохор, твердо знать это, уверенно знать! Не колебаться...

Прошка слушал. Понимал. Душой понимал.

Неизвестно, случится ли еще приехать сюда, к Владимиру Ильичу, в село Шушенское. Осталось три месяца до конца их ссылки...

Ну, прощайте! Может быть, не прощайте?..

Наступит 1917 год, и, может быть, еще встретится товарищ Прохор с товарищем Лениным.

Паши в комнате не было. Где она? Куда убежала? Спросить Владимира Ильича о том, что застряло на сердце, точит и ноет? Что ты, Прошка! После всего, что сказал Владимир Ильич, что надо переделывать мир?.. Разве можно! Но напоследок, на самый последок, когда Елизавета Васильевна и Надежда Константиновна, невзирая на то, что товарищ Прохор питерский рабочий класс, расцеловали его крепко-накрепко, как самого простого парнишку, когда и Владимир Ильич уже потряс ему руку, прощаясь, неожиданно Прошка спросил:

— Если два революционера одну девушку любят, как им быть, революционерам-то?

Эх ты, Прошка, глазищи как плошки! Не утерпел все-таки, выпалил.

Владимир Ильич молча щурился.

— Если два революционера...— повторил Прошка жиденьким, замирающим голосом.

— А она? — сказал Владимир Ильич.— Кого из двоих она любит?

Вот так, наверное, ответил бы Владимир Ильич. Но у Прошки застряли в горле слова. Не спросил. Не решился. А Владимир Ильич, наверное, ответил бы так...

Прошка вышел из дома. Серое тяжелое небо. Сейчас прорвется, завьюжит, заметет. Снег, снег над селом Шушенским. Над Саянами. Над тайгой. Снег, снег...

Во дворе против крыльца — голая, опутанная засохшими ветвями хмеля беседка. Больше не будут Владимир Ильич и Надежда Константиновна сидеть летом в этой беседке под звездным небом Сибири.

— Прошка!

Паша выскочила из дома, простоволосая, в валенках и своем желтом дубленом полушубке.

— Прошка! Стой, Прошка, на, Прошка.

Она выхватила из-за пазухи теплый пушистый комок. Варежки, серенькие с белым, с оборочкой.

— Зачем? — испугался он.

— Разве материну-то память дарят? Беречь надо. Бери. Береги.

Он взял. Она стояла, потупив голову, поникшая, грустная.

— Паша, отчего ты Леопольду ничего не сказала?

— А ты?

— Паша, Леопольд велел передать, что никогда не забудет. Всю жизнь тебя будет любить,— ответил он.

Она молчала, опустив голову.

— Паша, я еще приеду к вам, в Шушенское. Если не ушлют куда далеко. А ушлют, все равно приеду, а, Паша?

Вдруг она вскинула руки ему на плечи.

— Приезжай, приезжай, приезжай! Жалко мне вас. Мают вас, гоняют по ссылкам, воли вам нет, хорошие вы. Жалею я вас.

Она поправляла на нем шарф, укутывала ему шею и, к изумлению, счастью и горю его, твердила:

— Приезжай, Прошка, приезжай!

Махнула рукой. И убежала. Как тогда.

Серое небо над Шушенским. В последний раз оглянулся Прошка на крылечко с двумя деревянными колоннами.

Надо в волостное правление. Или на постоялый двор. Где-то надо искать оказию в село Ермаковское. Не подвернется оказия, пешком, через степь, через лес. Ну и что? Волки не часто людей загрызают. Как-нибудь доберусь. Что Прошку ждет в селе Ермаковском? Что писарь пропишет?

Что бы ни было, Прошка шел твердый, почти счастливый.

Вихри враждебные веют над нами...

Прошка думал о словах Владимира Ильича, о том, что наша задача не только объяснять, но переделывать мир. И Паша в желтом полушубке стояла перед глазами. «Воли вам нет, гоняют по ссылкам». Милая Паша, милая Паша.

Вихри враждебные веют над нами...
Но мы подымем гордо и смело...

1964—1965 гг.

Р2
П76

Прилежаева М. П.

П76 Удивительный год: Повесть.— М.: Современник, 1980.— 126 с. с ил., портр.— («Отрочество»).

Книга «Удивительный год» посвящена начальному периоду революционной деятельности Владимира Ильича Ленина. В ней рассказывается о времени, проведенном Лениным в ссылке в Шушенском.

М $\frac{70803-166}{М106(03)-80}$ 114—80 4803010102 ББК84Р7
Р2

Мария Павловна
Прилежаева

УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ГОД

Повесть

Редактор
И. ЛИСТИКОВА

Художник
В. ЮДИН

Художественный редактор
В. ПОКУСАЕВ

Технический редактор
Л. КИСЕЛЕВА

Корректоры
О. ГНЕУШЕВА, И. ПОПОВА

ИБ № 1865. Сдано в набор 14.03.80. Подписано к печати 23.04.80. Формат 70×100/16. Гарнитура об. нов. Печать офсет. Бумага офсет. № 1. Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л. 11,16. Тираж 500 000 экз. Цена 40 коп. Зак. 421.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В следующих книгах серии «Отрочество» Вы прочтете роман Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени», главы из романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» и повести Федора Абрамова «Пелагея» и «Алька».

40 коп.